



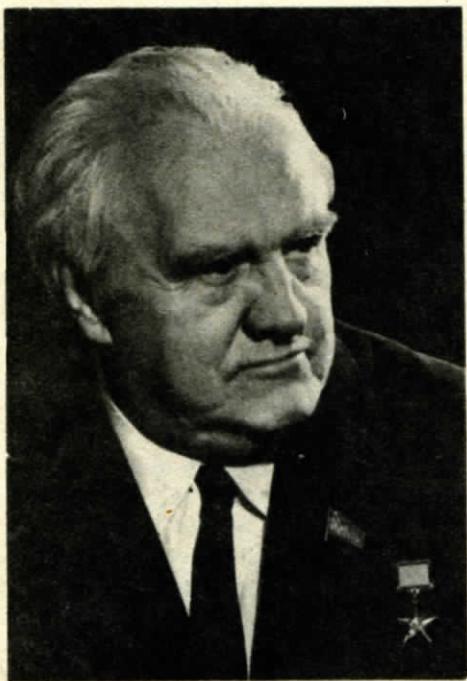
отрочество

отрочество

Н. Тихонов

ОКТЯБРЬСКИЕ РАССКАЗЫ





Н. Тихонов

ОКТЯБРЬСКИЕ РАССКАЗЫ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1987

АПРЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР

Поздним весенним вечером третьего апреля тысяча девятьсот семнадцатого года, на второй день пасхи, студент Петроградского университета Анатолий Оршевский шел из гостей — от приятеля своего, тоже студента, Василия Шахова, с которым он спорил весь вечер.

Сначала шел спор за общим столом, где была и праздничная закуска, и водка, а потом этот спор продолжался уже в комнатке Василия, и конца ему не предвиделось. Потом они оба враз прервали спор, засмеялись, и Шахов воскликнул:

— Мы же с тобой приятели не разлей водой, — ну, к чему мы так яростно спорим?

— Сейчас спорят все в России. Посмотри: спорят на улицах, на митингах, в домах, спорят бедные и богатые, спорят и в правительстве и в Совете, рабочие и солдаты, крестьяне, все кричат. Не кричать нельзя. Как будет дальше жить Россия, куда пойдет?

— Мы, кажется, опять начинаем все сначала, — ответил, горячясь, Шахов. — Ждали мы, ждали, чтобы Романовых свергнуть. Свергли. Народный праздник — все ликовали, от мала до велика. Есть у нас Временное правительство, и с ним согласен и Совет рабочих и солдат. Власть есть, значит, будет и порядок.

— Подожди, дорогой Вася, послушай. Какой же порядок, когда твои министры-капиталисты ничего не делают для народа...

— Как, разве они не у власти?

— Они-то у власти, а смотри, второй месяц революции, а главного нет и в помине.

— Что ты называешь главным?

— Войну надо кончать, а они только что подтвердили: «Война до

победного конца!» Крестьянам нужно землю, а они что объявили? Удельную землю передали в министерство земледелия, а кому она достанется и когда — неизвестно. Куда же они поведут нас?

— Но Родзянко — опытный политик, председатель Государственной думы!

— Что, он, по-твоему, за народ? Смешно, ей-богу!

— Но Керенский, как он говорит, как зажигает своими речами! Как громит старый режим!

— Твой Керенский — адвокат! Это одни слова, слова... А что будет дальше? Надолго их хватит, твоих временных... капиталистов?!

— Но подожди, я же сказал тебе, что с ними вместе заодно рабочий и солдатский Совет.

— Знаешь, Вася, — сказал решительно Анатолий, — я не разбираюсь хорошо в партиях; там и меньшевики, и эсеры, и анархисты, и большевики, — но одно скажу, что не понимаю: почему рабочим и солдатам по пути с Временным правительством? Да, в самом деле: почему?

Так он шел сейчас домой и мучительно думал, почему получилась такая страшная неразбериха и почему министры, которых справедливо называют министрами-капиталистами, неизвестно куда ведут страну...

Конечно, в те дни в своих мучительных поисках он был не одинок. Действительно, кипела вся страна, а уж о революционном Петрограде и говорить нечего. Вот и сейчас. Праздничный день. Второй день широкого русского праздника — пасхи. Заводы не работают, даже трамваи стоят, а откуда идут эти толпы, эти огромные массы рабочих? Идут, как на демонстрацию, с красными стягами, с песнями, идут и едут на грузовиках. Много людей, по-праздничному одетых, много солдат, которые

движутся стройными рядами, не очень стройными, но строятся и соединяются с рабочими колоннами. Что тут происходит?

Он сначала, занятый своими мыслями, только проталкивался, но потом уже и проталкиваться стало трудно, потому что колонны занимали места плотно друг к другу, и скоро площадь перед вокзалом была так переполнена, что подъезжавшие грузовики уже не уходили, а оставались среди пришедших. Это море человеческих голов колыхалось все время, потому что надо было давать пройти к вокзалу новым демонстрантам. Что происходит? Финляндский скромный вокзал, видимо, ждал чьего-то приезда.

Теперь Анатолием Оршевским владела другая мысль: увидеть предстоящее событие. Что это будет важное событие, видно было по волнению собравшихся, по шуму голосов, что-то выкрикивавших, как бы готовясь кого-то могуче приветствовать. Вдруг над площадью пронеслась революционная песня, которую пели не дружно, но громко и уверенно. Анатолий понял, что он не пробьется через площадь, и он стал искать места, откуда бы лучше увидеть вход в вокзал. Он нашел грузовик, с него то слезали, то вновь на него влезали люди. За грузовиком был удобный выступ стены, и в тесноте, достигнув его, он, прижатый к выступу, вскарабкался на него.

Новое оживление было вызвано продвижением моряков, которые, чернея в толпе своими бушлатами и сверкая оружием, проходили в вокзал. Потом стали разворачиваться броневики, чтобы занять нужные им места. Время шло незаметно. Анатолий вслушивался в громкие разговоры, которые были вокруг. Кто-то воскликнул: «Будем ждать все равно — хоть всю ночь, будем

ждать!» Другой голос ответил: «Да нет, говорят, уже Белоостров проехал, а тут уже рукой подать!»

Неожиданно на площади стало светло. Какие-то солдаты из инженерных войск привезли с собой прожекторы. Анатолий испытывал странное чувство. Он много видел за дни февральской революции сцен, самых разных — от восторженных до трагических, когда под пулями последних слуг старого режима падали люди, — видел митинги и собрания, где бушевали страсти, но тут, в этом скоплении народа, было что-то новое, необыкновенное.

Само ожидание, такое взволнованное и глубокодушное, какое-то единство, скреплявшее эти бесконечные ряды людей, готовых ждать, не считаясь со временем, появления кого-то, кто, еще не появившись, имеет такую привлекательную силу, что тысячи готовы его поднять на руки; одно это ожидание, затянувшееся на долгие часы, уже настраивало на торжественный и вместе с тем боевой лад.

Дело шло не о красивых словах, революционных фразах, а о чем-то очень серьезном, что может стать судьбой, сражением, переломом истории.

Много раз повторялось одно имя, и это имя производило на молодого студента сложное впечатление. Это имя он уже слышал. О его носителе иные говорили как о явлении, чуть не враждебном народу. Но почему же народ пришел встречать его с такой любовью и доверием? Что объединило солдат, рабочих, матросов, женщин, пожилых людей, молодежь на этой встрече.

Мысли путались в голове Анатолия, но ясно было одно: он свидетель необыкновенного, пусть он еще не разобрался в положении, но стоит увидеть то, что сейчас произойдет.

Наступили времена каких-то устремлений, и надо посмотреть в лицо будущему, отвергнув все маски, которые окружают тебя и тащат в разные стороны. Он первый раз в жизни чувствовал себя в глубине народных масс, и ему было приятно это ощущение, потому что ничего наигранного, ничего ложного здесь, на этой площади, не было. Здесь все дышало жизнью, большими чувствами, великими надеждами.

В двенадцатом часу где-то темноту прорвал гудок, оркестры заиграли все сразу. Был слышен шум и свист подошедшего поезда. Клубы дыма вырвались из-за вокзала. Площадь то замирала до почти полной тишины, то снова начинала наполняться гулом многих голосов.

— Идет! Идет! — раздалось откуда-то от вокзала, но, даже вытянув голову, Анатолий не мог ничего увидеть, кроме группы людей, которая вышла из вокзала и сразу утонула в народной волне. Но площадь, ярко освещенная прожекторами и факелами, осененная знаменами и плакатами, гремела «ура» и под гром оркестров кричала: «Ленин! Ленин! Привет Ленину! Да здравствует революция!»

Как-то вдруг, точно по невидимому сигналу, все стихло, и Анатолий не видел, как Ленин вышел из вокзала на площадь, но когда он поднялся на броневик, он стал отчетливо виден всем, кто был близко. Ленин был в демисезонном пальто и сером костюме. Он стоял на броневике и, вытянув руку к народу, громко говорил, но только отдельные фразы можно было слышать, хотя слушали внимательно, затаив дыхание. Постепенно из отрывочных фраз складывалось нечто, что доходило до сердец слушавших, и совсем отчетливо услышал Анатолий, как он бросил, как факел, по-



ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

следнюю фразу: «Да здравствует социалистическая революция!»

С народом творилось нечто поразительное. Как будто кто-то вдохнул в него волну такой энергии, что теперь-то уж нельзя стоять спокойно. Теперь надо двигаться, теперь надо идти вперед. И невиданное шествие действительно двинулось.

Вся площадь как бы повернулась в одну сторону, и, провожаемый криками и шумом двигающихся тысяч, Ленин еще некоторое время виднелся на броневике, который уже тронулся в путь, но потом сошел с него и, чего Анатолий тогда не знал, сел рядом с водителем, и броневик направился по Финляндскому переулку.

В большой суматохе перестройения машин и колонн Анатолию удалось перескочить с выступа на грузовик и втесниться в стоявшую на грузовике толпу, уже ни на что не обращавшую внимания, кроме как на броневик, который шел впереди.

Теперь начался второй поражающий акт исторической эпопеи этого вечера. Этот удивительный путь входил в глаза отдельными картинами небывалого шествия. Впереди медленно двигался броневик. За ним, уходя в темноту, виднелись несчетные головы, знамена, штыки, броневики, факелы.

Не было конца этому потоку, который останавливался на несколько минут, когда останавливался передовой броневик и Ленин, стоя на подножке, держась за открытую дверь или выходя на улицу, выступал с краткой речью или просто говорил слова приветствия. Открывались окна в домах. Удивленные люди высывались из окон, прохожие останавливались, пораженные зрелищем.

При появлении Ленина из всех колонн снова гремели приветствия,

в воздух кидали шапки и кепки, подымали винтовки, и в ответ идущим сверкали штыки поднятых винтовок у солдат, стоявших по пути вдоль улиц.

Анатолий был потрясен всем виденным. Ночь, а была уже ночь, преобразила лица. Он с захватывающим дух интересом смотрел на этих людей, живших в одном с ним городе, но он никогда не видел таких лиц.

Из тьмы выступали освещенные прожекторами, факелами, фонарями незабываемые лица, на которых можно было прочесть отважную уверенность, беспощадность к врагам революции, восторг, суровую нежность людей, охраняющих самое для них дорогое.

Во всем этом шествии, в поступи многих тысяч, в тяжелом шуме их ног, в говоре, напоминавшем шум большого встревоженного леса, в песнях, которые вспыхивали, подобно тем факелам, что освещали идущих, было нечто от эпических времен, когда слово «народ» не требует уточнений.

Одно дыхание, одна мысль, одно чувство владели этой массой, движавшейся через город с торжественной и угрожающей медленностью. Кому же угрожала эта масса, прожигая огнями ночь и сверкая оружием?

Она угрожала тем силам, которые прятались в окружающей темноте, злобно всматриваясь в неповторимое шествие, и готовились, подсчитав свои возможности, завтра же броситься, чтобы остановить, отбросить, разгромить этих людей, так уверенно идущих вперед, в будущее.

В этих людях жила радость, потому что начало новых дней уже было рядом с ними, в них. Революция должна была подняться на высшую ступень, а тревожное волнениеросло, потому что было ясно: понад

добятся новые жертвы, новые, решающие бои, когда кровь обагрит улицы старого города на Неве.

Это шествие было таким красочным, таким впечатляющим еще потому, что в нем соединились все те, кто давно, еще с юности, встал под знамена революции, кто шел за Лениным, кто завтра будет драться за Октябрьскую революцию на всех фронтах, кто начнет строительство небывалого в мире рабоче-крестьянского государства, кто кинет вызов всему старому миру и понесет пламя победных знамен до границ старой империи.

Всего этого не мог знать и чувствовать Анатолий Оршевский, студент Петроградского университета. Когда он вскочил в грузовик, где-то в глубине сознания отметил, что ему просто по дороге к дому удобно включиться в маршрут этого народного шествия (он жил на Лахтинской улице). По мере же развертывавшихся ночных картин, встреч и выступлений Ленина на так хорошо знакомых местах, как угол Новгородской и Боткинской, на Сампсониевском проспекте, на Оренбургской улице, на Большой Вульфовой, он уже чувствовал, что именно ему по дороге с этим народом, идущим так, точно никогда не кончится это шествие.

Ему казалось, что начинается нечто невиданно новое в истории этого много видевшего, много испытавшего города, но что главное еще впереди и он — простой, скромный человек, маленький студент — будет участником чего-то невероятно грандиозного.

Это заражало его волнением, которому пока не было объяснения. Он мог бы только сказать, что он уверовал в то, ему до сих пор не известное, что собрало людей на площадь, оторвав их от празднично-

го отдыха, от своих жилищ, где можно было встречать пасху по стариинке, оторвало от всего, что было прошлым, и направило по неизвестному, по героическому пути за этим человеком в демисезонном пальто. Лица выступавшего он не успел хорошо разобрать, но на всю жизнь запомнил его жест и его краткую заклинательную пророческую речь!

И он смотрел и смотрел и не мог насмотреться.

Утром к нему пришел его друг и постоянный спорщик Василий Шахов. Он сразу сказал:

— Есть новость, специально для спора. Будем спорить сейчас или посидим и поговорим просто о жизни?

— Нет, спорить не будем, — ответил почти надменно Анатолий.

— Почему?

— Потому что я спорил в поисках будущего. Теперь я нашел, что искал...

— Что же это такое — не секрет?

— Какой секрет! Об этом весь мир уже, наверное, трубит. Ты знаешь, что я по своей специальности химик, но я люблю музыку. Химики любят проверять небесной гармонией свои земные формулы. Но ты знаешь, что я занимаюсь и рисованием. Для себя. Так я тебе сейчас кое-что нарисую...

— Интересно, неожиданный поворот, — заметил Василий, — ну, рисуй!

Анатолий взял тушь, лист бумаги и быстро набросал какой-то чертеж, но нет, это был, конечно, не чертеж...

— Позволь, — сказал Василий, — по-видимому, да не по-видимому, а точно, я не ошибаюсь — это броневик?

— Он самый. А теперь...

Василий смотрел растерянно, как на башне броневика вырастала фигура с простертой вперед рукой, как будто обращенной в большое пространство.

— Броневик вижу, — сказал Шахов, — а кто же это с протянутой рукой? И что за речь он держит?

— Что за речь? Слушай вкратце... То, что мы совершили, — еще не полная победа. Победа будет впереди. Это еще не та революция, пролетарская революция должна быть впереди, социалистическая революция!

— Постой, постой! — воскликнул Шахов. — Да это же ты Ленина нарисовал. Это он вчера с броневика у Финляндского вокзала говорил. Ну что ты, кто же пойдет за ним?! Ты видел сам-то его?

— Да. Я видел сам, и я тебе скажу: за ним шел вчера весь народ, все питерцы — и рабочие, и солдаты, и матросы, и женщины, и старики, и подростки, — вчера шли, а завтра пойдет вся Россия!

— Ты уверен? — нерешительно сказал Шахов. — Почему пойдет за ним?

— Потому что он единственный, может быть, человек сегодня в России, который знает настоящий путь! И я хочу идти этим путем!

— Как же так? — уже растерянно сказал Шахов. — Ты жил, не гадал — вдруг какое-то чудо! Один вечер — и все ясно. Разве так бывает?

— Бывает, ты сам сказал хорошо про чудо. Да, это чудо одного апрельского вечера, и это чудо повернуло не только мою жизнь, а может, и жизнь всей России, а может, и пошире...

Чудо этого апрельского вечера Анатолий Оршевский хранил в памяти до самой смерти. Он погиб на фронте в рядах Красной Армии в 1918 году.

НАЧАЛО ЭРЫ

Они стояли у окна и, отодвинув тяжелые синие портьеры, смотрели на темную пустынную улицу, мерцающую изморозью. Они видели в сизой мгле ноябрьской ночи, как ветер хлопал вывесками и гнал по тротуару и мостовой обледенелые куски сорванных плакатов.

— Подумать только, — сказала хозяйка, придерживая портьеру рукой, на которой сверкнуло большое кольцо с темным прямоугольным камнем, — посмотрите на эту улицу, на этот город. Кто скажет, что еще недавно это называлось столицей империи. Вслушайтесь в тишину этих мрачных, черных улиц, вглядитесь в эту темноту, вспомните, какой свет, какой шум царили в этом городе. А теперь ночь, ветер, мрак. Как на сцене. Можно ставить Шекспира. Мне страшно, а вам? У вас в Америке даже в романах не прочтешь о том, что случилось у нас...

Гость, внимательно и серьезно слушавший хозяйку, опустил портьеру и посмотрел в глубину комнаты. Там в камине догорали остатки дров, в комнате было прохладно, пахло старой мебелью, пылью, на стенах в полу暗раке поблескивали золотые рамы. Посредине стоял круглый стол, на нем кофейник и маленькие чашки. У камина в глубоких мягких креслах сидели двое мужчин, тихо перекидывавшихся короткими фразами. Один курил сигару, и тонкий голубой дымок отлетал к груде потухающих углей, уже подернутых серым пеплом. Комната освещалась двумя свечами в подсвечниках, изображавших сфинксов. Ковры на полу заглушали шаги.

Гость слегка улыбнулся, но заметить его улыбку хозяйка не могла, потому что снова лицо его стало холодным.

— Россия имеет свою историю, непохожую на Америку,— заметил он.

Хозяйка отошла от окна. В черном бархатном платье, с белым кружевным воротником, высокая, полная, с копной почти рыжих волос, она говорила с каким-то наигранным экстазом:

— Все пришло к концу. Все старые слова сказаны, религии, искусства и науки не дают выхода человеческой душе. Война развязала все дикарство в людях, все самое грубое, жажду убийства, но человек, он не может не жаждать света, не может не искать пути, по которому можно выйти к солнцу истины, к великим знакам зодиака, приблизиться к тому первообразу, который спасет истинное «я» человечества от уничтожения. Вы слышали про теософский орден «Зеленой Звезды на Востоке»?

— Нет, к сожалению, я не слышал,— сказал вежливо гость и дал прикурить хозяйке.

Она, помахивая маленькой душистой сигаретой, сказала разочарованно:

— Но он известен в Англии и в Америке... У нас перед февралем и особенно после февраля он стал очень, очень популярен, и не только среди аристократов духа, но и среди людей простой души, жаждущих. Наши собрания имели громадный успех. Величие образов, которые таятся в этом учении, чистота и новизна его привлекали сердца. Оно заключает в себе и римско-католическое учение об очищении, просветлении и слиянии с божеством, и суфизм, мистическое учение ислама, эти Путь, Истина и Жизнь, и великие познания религии индуизма, и буддизм... Понимаете, среди этой нищеты культуры, среди крайностей, которые проповедуют больше-

вики, наши пути с их посвящениями, символикой, экзотикой — новые пути. Путь слияния есть достижение стадии Учителя, освобождение от мира есть конечное спасение. Учитель, мы ждем его, мы не знаем часа его явления, но он настанет. Нужно, чтобы мы были способны принять его, вместить и уготовить ему путь... Правда, что в Америке можно основывать собственную религию: каждому, кто хочет выступить вождем религии, надо только собрать тридцать последователей, и эту новую религию утверждают, как законносуществующую...

— Возможно,— сказал гость,— но я бы хотел, если вы позволите, поговорить с вами о России. Мне интересно, как вы относитесь к тому, что происходит. Ваш друг Владимир Иванович сказал мне, когда я посетил Комитет спасения несколько времени назад, что большевистское правительство развалится в недельный срок. Сегодня мы шли с ним по городу, и он предложил мне познакомиться с представителями некоторых интеллектуальных, как он сказал, кругов и ввел меня к вам. Мне, как иностранцу, очень интересны ваши сегодняшние мысли...

— Россия...— сказала хозяйка, садясь и наливая себе холодного кофе,— мы не знали нашей страны, вернее, мы знали, что есть рабочие и крестьяне, мы знали, что им плохо живется, мы знали также, что у народа большая душа, но эта душа напоминает индийскую пассивную, страдальческую душу. Наша страна мне казалась большой белой Индией. И то, что сейчас с ней происходит,— это наваждение, чары злого духа, болезнь, которая охватила миллионы, потому что война и лишения разбудили зверя.

Человек, сидевший в кресле и

куривший сигару, воскликнул зло и несдержанно:

— Дорогая Елена Константиновна, вы сами не знаете, как попали в точку. Белая Индия, да, так и есть — это белая Индия, это Россия, разорванная на куски, рабская страна, нищая, страшная. Все ваши теософии и эзотеризмы — это красивые мечты, это дым. Страна населена дикарями, каторжниками, и они будут обузданы. У нас не хватит силы, придут немцы — немцы, которые все сделали, чтобы развалить государство русское. А теперь они уже шагают на этот развал, несут порядок. И они будут здесь, в Петербурге, наведут порядок и в Москве, и в Сибири, и всюду. И такой порядок, как в Индии навели англичане... Я приветствую... Конечно, им придется поделиться. У французов и англичан здесь есть концессии, от которых они не откажутся. Да и американцы тоже имеют свой интерес. Духовный мир — это оставим, как вы изволили выразиться, аристократам духа, а тут нужно физическое воздействие. Другого способа нет.— Он встал с кресла и оказался небольшого роста человеком с пышными короткими усами и маленькой пушистой бородкой.— Поймите,— сказал он, обращаясь к гостю,— развал полный, большевики захватили власть. Это авантюра, у них нет никакой возможности удержаться: у них нет армии, они ее сами кончили, у них нет денег — вы знаете, что их комиссар приходил в банк требовать миллионы, и служащие банка ему отказали и не дали и не дадут ни ему и никому, у них нет интеллигенции, она сама кричала, кричала, а теперь испугалась и попряталась. Вот,— закричал он вдруг свирепо, указывая на окно, потом подбежал к окну, откинул портьеру,— вот смотрите, здесь вче-

ра из пулеметов стегали сами себя. Склады бьют, пьяные бегают по улицам, тонут в вине в подвалах, поджигают, грабят. А интеллигенция сидит, дрожит в темных домах. Сама дрождалась, а кричала: ах, народ, ах, народ-богоносец,— вот он, этот богоносец, ей и показал. Ну, все равно, все министерства пусты, скоро остановятся дороги, холод и голод уже на дворе. Россия кончилась. Большевиков хватит на две недели, потом крах и белая Индия. А там, в этой Индии, дорогая Елена Константиновна, можете собирать своих, как вы говорите, эзотериков и ждать Спасителя к своему удовольствию...

Гость позволил себе улыбнуться и сесть.

— Значит, вы не представляете себе возможности воскрешения России,— сказал он,— без помощи интервенции. Мне это очень интересно слышать из уст такого авторитетного человека, как вы, господин статский советник.

— Мне один дипломат недавно сказал следующее,— продолжал господин статский советник,— он сказал: Россия нас бросила. Ее народ упал в тьму, возвратился к первобытным, к варварским временам. Но мы, ее друзья, обиженные и разочарованные тем, что происходит в России, не будем винить в этом всех русских. Вы сбились с пути, и мы вам поможем найти настоящий путь. Это мы сделаем для вашего и нашего спасения. Скажите мне, ведь и в Америке держатся такого же мнения?

— Я вам отвечу несколько позже,— сказал гость,— я хочу послушать вас. Может быть, и господин генерал тоже что-нибудь скажет о положении и о том, что он думает по поводу дальнейшего развития событий...

Тот, кого называли генералом, сел прямо в кресле и постучал по столу длинными белыми пальцами.

— Я не могу рассказать вам многое, так как это составляет часть проводимого в жизнь плана. Большевики удержаться не могут. Ни одна партия их не поддерживает. Интеллигенция, чиновничество, офицерство не с ними. Деревня,— он поднял вверх палец,— а это главная русская сила — не с ними. Немецкие империалисты, как они называют немцев, при дверях. Это ясно... Но мы пойдем не с немцами. Мы пойдем с нашими союзниками. Они дадут нам вооружение, и мы организуем новую армию. У большевиков нет армии. Солдаты без офицеров — не сила, офицеры без солдат — сила. Мы эта сила... Мы уже организуемся.

— Сколько же, вы думаете, продолжится положение, при котором страна будет управляться большевистским правительством? — спросил гость.

Генерал развел руками.

— Боюсь сказать, потому что страна велика, но в Петербурге можно навести порядок в месяц. Если бы Керенский не был главноуговаривающим, а был бы способен иметь настоящего главнокомандующего, он не бежал бы так позорно, как не бегал ни один уважающий себя министр. Он бы выиграл этот бой с большевиками, потому что у них не было даже военных отрядов, а были массы, которые вышли просто навстречу его войскам, и те разложились, наслушавшись пропагандистских речей, разошлись по домам...

— Подождите минуту,— сказала хозяйка,— по-моему, близко стрельба...

Все замолчали. Действительно, сквозь стекла донеслись выстrelы,

потом они прозвучали ближе.

Генерал досадливо махнул рукой.

— Пьяные убивают пьяных!

— Анархия. Бандитизм. Все кончено. Как еще город не горит,— сказал статский советник.— Как еще мы живы...

Хозяйка умоляюще посмотрела на него, и на ее лице показалась гримаса испуга.

— Стучат у нас, слышите, к нам стучат!

Все прислушались. Ясно был слышен нервный сильный стук.

— Но ведь парадная заперта,— сказал генерал.

— Это стучат с черного хода. Но там у нас Андрей.

— Кто это Андрей? — спросил американец, и его равнодушное лицо заметно оживилось.

— Андрей, наш старый денщик, лакей, если хотите. Он в доме уже целую жизнь. Но он глухой и почти ничего не видит. Когда спит — хоть пали из пушек, не проснется, старый бульдог... А если это бандиты? — сказала хозяйка, прижимая руки к груди.

Стук был слышен уже явственно. Удары сыпались на старую дверь.

— Я пойду посмотрю,— сказал генерал.— Я без погон, в тужурке, эксцессов я не боюсь. Не убьют же сразу. Товарищи любят поговорить.— Он вынул пистолет из заднего кармана брюк и пошел на черный ход.

Прошло несколько тягостных минут. С черного хода не доносилось ни звука.

— А как вы ходите по улицам, не боитесь? — спросила хозяйка американца.

— У меня есть документы, что я иностранец. К иностранцам обе стороны относятся нейтрально. Они даже заинтересованы в том, чтобы мы рассказывали правду...



— Вот вы расскажите все, все, что видели... Пусть нас пожалеют в Америке. Но что там происходит? Почему тишина?..

Теперь послышались шаги и голоса. Дверь распахнулась. Вошел генерал, играя пистолетом. За ним ввалился в порванном пальто, запачканном чем-то белым, бледный взъерошенный человек, дышащий, как рыба, выброшенная на лед. Он, ни слова не говоря, запустил руку в карман и начал выбрасывать на стол деньги. Это были скомканные, грязные бумажки, разноцветные и слипшиеся. Между ними мелькали коричневые керенки и даже иностранные ассигнации.

Потом он протянул руку, измазанную в грязи, и закричал на всю комнату:

— Заработал! Заработал! У большевиков заработал.

— Пьер! Что с тобой случилось? У тебя рука... Посмотри, какая ссадина... — всплеснув руками, восхлинула Елена Константиновна. — На тебя напали бандиты? Но откуда деньги? Грязные... — Она боялась коснуться их.

— Пьер — брат Елены Константиновны, — сказал генерал американцу, усаживаясь в кресло. — Расскажи, что произошло?

Статский советник потрогал деньги концом десертного ножа, точно хотел убедиться, настоящие они или нет.

— Нет, дайте отдошаться, — все еще прерывисто дыша, проговорил Пьер. Он снял пальто и бросил его на диван. Потом сел и посмотрел по сторонам невидящими глазами.

— Нет, — вдруг закричал он, — это безобразие, это свинство, это черт знает что. Ну, ограбили, ну, хорошо, но это издевательство над всем священным. Я понимаю, почему они палили по Кремлю. Они

все уничтожат. Все памятники... Все, что ценно, все, что есть жизнь...

— Ну, ты не памятник, по тебе, надеюсь, из пушек не стреляли, — сказал генерал, — расскажи все-таки, что произошло...

— У моего брата есть одна страсть, — сказала Елена Константиновна, — он любит играть в карты...

— Да, люблю, да, страсть, — сказал упрямо Пьер, доставая большой платок и вытирая лицо. — Я, господа, не хочу подчиняться, как говорят, законам черни. Но эти комиссары запрещают азартные игры, видите ли, они на страже нравственности. Ну есть еще в Петербурге, слава богу, места, где играют... И играют сильно, играют всю ночь, все равно ночью опасно идти домой. Я нашел такой вполне приличный дом. Конечно, там собираются сейчас все. Очень смешанное общество. Я не знаю, как туда пускают, но там было даже тесно. Играли, в общем, в нескольких комнатах. Туда прийти можно только по знакомству. Сидим, играем, ставим банк. Все было хорошо. Даже, знаете, какой-то азарт особый. Хозяин предупреждает, чтобы все было тихо. Не привлекать внимания. И все подчиняются. Ну, азартно, естественно, кто играет крупно, кто проигрывает, кто как. И когда в банке гора, груда денег, вдруг вырывается из толпы такой здоровый, как грузчик, человек, может, не грузчик, не знаю. На лице маска. В руке граната, ручная граната. Мы все присели: сумасшедший! Бросит сейчас. Все вдребезги. А он кричит: «Ва-банк! Руки вверх!» Смотрим, как эхо, крик повторился, в дверях трое в масках. И наведены на комнату пистолеты. Дамы в крик. И кто стоял в дверях — в другие комнаты, но и там крик: «Руки вверх!» Бандит один берет мешок и подходит к столу,

сгребает все деньги в мешок. Тут другие начинают, вы подумайте, начинают обыскивать всех подряд, снимают часы, деньги берут, кольца, браслеты у женщин, серьги — все, и так идут комнаты за комнатой. Кругом белые от ужаса люди, трясущиеся рты, поднятые руки, с дамами истерика, бросились в уборную! Простите, думали там скрыться, но и оттуда достают и почти раздевают, и все в мешок: деньги, даже серьги, браслеты, кольца... И так было не помню сколько времени... — Он задохнулся от быстрого рассказа.

— И никто не мог найти смелости броситься на бандитов? — сказал генерал. — Столько народу, а их, ты говоришь, несколько человек.

— Вот потому и не бросились, — сказал Пьер, — потому что, если бы их было много, можно драться, а тут видно — сумасшедшие, с гранатами, ничего не стоит имбросить — и всем смерть...

— И чем же кончилось? — спросил статский советник. — Ограбили и ушли?..

— Нет, если бы так, если бы так... Слушайте, вы увидите, что это сумасшедшие. Они уже все забрали, и вдруг — а я стал пробираться ближе к выходу — они меня заметили, и тот главный в маске говорит: «Чего нам нести мешок, он понесет. Ему с нами по дороге». Я сказал: «Господа, я без пальто, я не одет, на улице мороз». Они сорвали с вешалки вот это пальто, бросили мне: «Одевайся». Три пистолета уставили на меня. Что делать, вы представляете себе мое положение? Я вижу — мне все сочувствуют, дамы в обморок, а эти, с гранатами, дождались, когда я надену пальто, и кричат: «Бери мешок!» И они взвалили на меня мешок, и мы по-

шли. Я прощался с жизнью, потому что думал никогда не увидеть вас, сестра, и родной дом...

— Они привели вас в Смольный? — спросил статский советник. — Вот каким образом они раздобывают деньги, теперь ясно...

— В какой Смольный? — Пьер замахал руками, — мы пошли по улице к каналу. К Мойке. Вы представляете шествие. Я спотыкался, я, как вы знаете, не умею таскать мешков. Не приучен. Они тычут в меня пистолетами, и я иду. Кричать — бесполезно. Прохожих нет. Мы идем по набережной, и вдруг у спуска, где ступеньки к реке, этот первый командует: «Вниз». Тут меня прошиб холодный пот, хотя на улице мороз. Они меня хотят утопить. Но почему? За что? И почему меня?

Мы спускаемся к воде. Я не умею плавать. Вода черная, страшная...

— Боже мой, — сказала Елена Константиновна, прижав платок к виску.

— Этот предводитель говорит: «Бросай мешок». Я положил мешок к его ногам. Я ничего не соображал. Я только понял: это смерть. Тут вдруг остальные сумасшедшие кричат: «Дай хоть немного!» — «Берите», — говорит этот Монте-Кристо, и они хватают из мешка кто сколько захватит. Он отодвинул их, сказал «хватит» и тут взглянул на меня. Кричит: «На тебе, бери, буржуй проклятый, небось первый раз в жизни работал, бери заработанное». И вот, вот, — тут Пьер засопел, всхлипнул, — вот они, эти деньги. Мне их в карман всунули и кулаком по спине дали. А потом, я не верил своим глазам: этот бандит, зверь, скотина, поднял мешок и вытряс все, что там было, в воду, вы представляете — в воду. «Туда, говорит, им и дорога — эти деньги грязные,



от них народу горе! Туда бы и тебя следовало», — но, после жуткой паузы, он сказал: «Пощадим. Иди и благословляй богиню под черным знаменем — Анархию!»

Мы вышли наверх, на набережную, и он сказал: «Живи, буржуй, катись, пока цел!» — дал в воздух выстрел, и я побежал. Уже у самого дома я все вспомнил так отчетливо и остановился сам как сумасшедший, потому что, если бы не эти грязные деньги в карманах, я думал бы, что это бред, что я сам впал в транс, сошел с ума, а они вот, вот они. — Он разбрасывал по столу бумажки, и все смотрели на них расширенными глазами.

Он театрально повалился на диван и закрыл глаза. Потом открыл их и, как актер, говорящий последние слова монолога, произнес выразительно и горячо:

— Ну, мерзавцы, ну, грабьте, и до вас грабили, и после вас будут грабить, а почему нужно издеваться над тем, что составляет самое дорогое — закон, порядок, честь? Деньги, деньги, которыми двигается в мире наука, техника, искусство, все, торговля, оплачивается труд, и эти деньги, и серьги, браслеты кольца — прекрасные вещи уничтожать. Вандалы, дикари... — Он снова задохся в пароксизме злобы.

— Мда, — сказал генерал, — мы думаем еще, что живем в городе, который прославлен в истории, в литературе. Его больше нет. Есть джунгли, есть дикие звери, которые бросаются на людей. Вот он, последний распад сознания...

— Вы американец, свободный человек свободной страны. Вы должны все это описать, все это должно стать достоянием цивилизованных людей. Вы видите, наша страна, наше государство больше не существует,

вует, — воскликнула Елена Константиновна.

— Да, да, — закричал статский советник, — мы вас умоляем, мы вас просим защитить последние остатки культурных людей. Сегодня они уничтожают ценности, завтра они будут уничтожать города, памятники — все. Апокалипсис! Что думаете вы об этом, что скажете вы о том, что происходит...

— Что происходит... — сказал задумчиво гость, — садитесь, господа, я скажу, что, по-моему, происходит. Только прошу не удивляться тому, что я скажу. Может быть, я ошибаюсь, я все-таки чужой человек в вашей стране, но я хорошо ее видел и видел, как все происходило в этот месяц, который войдет в историю человечества.

Вы называете восстание большевиков авантюрией, но это самая чудесная авантюра, какую когда-либо переживал род человеческий. Большевики призваны выполнить и они выполнили самое великое и простое стремление широких народных масс. Без поддержки этих масс революция не была бы возможна. Большевики — единственная партия в России, имеющая творческую программу и достаточно сил, чтобы привести ее в жизнь по всей стране. То, что кажется вам сегодня всеобщей гибелью, есть гибель старого мира, и в этой ночи, в этой грязи, в этой крови встает великолепный рассвет, встает эра человечества. Так я думаю и с этим хочу поздравить вас, как людей, которые являются современниками величайшего в мире события. — Он замолчал, но сейчас же добавил: — И в Америке и в Европе скоро скажут то же самое, что сказал я...

Все оцепенело смотрели на этого широкоплечего, приятного собеседника, который так хорошо держал-

ся в их обществе и вдруг заговорил какими-то страшными, светящимися словами, которые связали им язык, сковали их движения, обессилили.

Все молчали. Никто не знал, что сказать. Только одна Елена Константиновна, странно усмехнувшись, сказала:

— Вы романтик и фантаст! Вы, конечно, мистифицировали нас. Кто вы? Как вас зовут?

Гость улыбнулся хорошей, добродушной улыбкой. Он сказал:

— Я не фантаст и не романтик. Я журналист, социалист американец,— меня зовут Джон Рид! Я очень благодарен вам за эту интересную ночную беседу!

СЧАСТЛИВАЯ УЛИЦА

Комиссар Глебов Иван Филиппович, монтер по профессии, в изрядно потрепанной кавалерийской шинели, с длинными отворотами на рукавах, не показывая усталости, шел, как по плацу, впереди длинного обоза, конец которого терялся в темноте ржавой мути, обволакивавшей бесконечную ленту домов и заборов села Смоленского.

Несколько поодаль от него, стараясь идти в ногу с комиссаром и постоянно сбиваясь, шагал совсем юный красноармеец, Алексей Дымов, бывший каторжник кирпичного завода из-под Шлиссельбурга. Он шагал с усталым и хмурым лицом, насупившийся, смахивая с носа холодные капли, падавшие с намокшего, сломанного для лихости козырька легкой летней фуражки. Он не смотрел по сторонам. Эти места были ему знакомы с детства и не представляли ни тогда, ни теперь ничего привлекательного.

В холодной пропасти осенней ночи, в самый глухой ее час, среди оголенных, как будто зажавших стоны деревьев с судорожно вытянутыми сучьями, стояли, похожие на большие ящики, домики. За глухими занавесками, за тяжелыми ставнями то ли спали тяжелым сном, то ли притаились, прислушиваясь, что делается на улице. А на улице двигался темный обоз, на грохот которого угрюмо и лениво отзывались дворовые псы и устало замолкали, как только все лязги и скрежеты уходили от них.

Ветер гудел в проводах, иногда с такой пронзительной невыносимой силой, что становилось еще тоскливой и неуютней и от него, и от тяжкого безмолвия вымершей местности и реки, застывшей у высокого берега. Дождь прекратился. Порывы холодного ветра обжигали щеки. Когда ветер проносился, качая ветви, они начинали позякивать, как жестяные. Привыкший в темноте глаз различал крупные булыжники под ногами и видел впереди мутные, расплывающиеся очертания домов, теснившихся друг к другу.

Комиссар резко остановился, отступил с дороги, пропустил вперед первую подводу и подошел к Дымову. Они стояли рядом. Плечистый, с тонкими рыжими усами комиссар и худой, тонконогий красноармеец. Оба молча смотрели, как проходили мимо них темные подводы с высокими, чуть наклонными бортами. Нельзя было увидеть, чем они нагружены, но Дымов знал, что там, на этих подводах, лязгают большие и малые лопаты, киркомотыги, ломы, пилы, топоры — весь шанцевый инструмент, нужный для саперных работ. На других подводах подпрыгивали черные катушки телефонного провода и кривые, тяжелые, не-

укаючие мотки колючей проволоки.

— Иди-ка,— сказал Глебов, слегка дотронувшись до руки Дымова,— и посчитай подводы, все ли тут, да посмотри, где Крынкин с Мохиним: а то эти колонисты,— он махнул головой на подводы,— могут там с конца и к дому завернуть...

Дымов ничего не ответил, он пошел вдоль длинного ряда подвод. Возницы сидели, согнувшись, иные клевали носом, иные спали, привалившись к моткам телефонного провода, закрепив поводья за край подводы, иные сидели, неестественно выпрямившись, и никто не мог бы сказать, о чем думают эти мрачные люди, подчинившиеся только приказу о реквизиции подвод и лошадей для срочных военных нужд. Они знали, что их сразу же отпустят, как они довезут груз, но кто знает — так ли это? Сейчас такие времена, что, глядишь, вернешься домой через несколько лет, да еще вернешься ли?

Дымов не будил спящих. Он шел и считал подводы. Когда сказал про себя «шестнадцать», перед ним оказалась пустая улица. Он стоял, поживаясь, не понимая, куда девались еще две подводы и куда пропали Крынкин с Мохиным. Сырая мгла окружала его. Ему тоже захотелось идти дальше от этой дороги, от этого обоза, идти не останавливаясь, пока не блеснет огонек маленького домика, где есть хорошая теплая кровать и мать даст крепкого сладкого чая... Он стоял один, поживаясь. Винтовка оттягивала плечо. Обоз исчез. Он прислушался. Приближался какой-то шум. Показались две подводы. Красноармейцы шли и разговаривали с подводчиками.

До слуха Дымова долетели об-

рывки слов. Говорил Мохин, обращаясь к колонисту-подводчику. Дымов услышал:

— Ты мне не объясняй. Я учений на объяснения. Тут воды нет — сам знаешь. Чего ты вздумал среди дороги лошадь поить — хозяин особенный?..

— Больна она, ногу ранила. Вот надо ногу промыть,— отвечал спокойно подводчик,— хромает, идет плохо. Не дойдет...

— Знаю тебя,— сказал Крынкин,— как за вами не посмотрят, так вы раз в сторону — и все. И ищишищи...

— А зачем мне твоя проволока? Что я, душиться на ней буду? — сказал, сплюнув, второй подводчик.— Если тебе нравится — сам дуешься...

— Душиться не душиться, а изгородь колючую за милую душу сделаешь. Вон у вас колючкой все огороды огорожены.

Подводчики не отвечали. Увидев Дымова, красноармейцы подошли к нему.

— Чего ты? Чего ждешь?

— Комиссар послал...

— Зачем?

— Проверить, налицо ли все подводы... Вас посмотреть...

— Ишь ты,— сказал Мохин,— он, гляди ты, и вперед смотрит и назад норовит. Порядок соблюдает. Скажи, что вот поотстать кое-кто сообразил, да мы смотрим в оба. А ночью смотреть — надо уметь... Закурим. Свернуть хочешь?

— Я не курю,— сказал сердито Дымов.

— А что ты сердишься, ты не сердись, ты злость побереги — пригодится, а мы закурим...

— Я не сержусь,— ответил Дымов, вынимая спички и давая огня прикурить красноармейцам...

— Какие у тебя спички-то,— с

восхищением сказал Мохин, беря в руки коробок.

— Я их в восковой бумаге держу, чтоб от сырости не пострадали. Я побегу, а то комиссар ответа ждет...

— Ну, беги, да скажи там комиссару, что мы тут на посту. Беспорядка не позволим. Ишь ты, он взял да в сторонку, там в улочку, а этот, второй, за ним, как будто из любопытства. Хорошо, я посмотрел, а то так бы и утекли. А там лови их... Одно слово — колонисты, знаешь,— он взмахнул самокруткой в воздухе, и искры посыпались на дорогу,— они вот так соображают, что все добро из города им перейдет. За их картошку, за молоко, за муку. Первые они грабители, буржуи, кулачи, ей-богу. Им, брат, доверия ни на копейку. Сейчас же в кусты, как не усмотришь. Вишь, ему лошадь надо ночью мыть. Пошел воду искать. Тут мы их и накрыли... Ну, беги, а то комиссар волнуется — две подводы пропали. Так скажи, что налицо...

Последние слова Дымов слышал уже на бегу. Чтобы согреться, он побежал по дороге, и хотя винтовка изрядно ему мешала, но он бежал, будто хотел обогнать кого-то. Глебов, остановив обоз, ждал его. Когда он рассказал про то, что случилось с двумя подводами, Глебов усмехнулся, обтер свои мокрые рыжие усы рукой, точно выпил рюмку водки, и сказал:

— Смотри-ка, Крынкин и Мохин сообразили, а мне показалось, что они думать ленивы. Молодцы! Значит, наш арьергард обеспечен. Продолжаем продвижение...

И снова шагали они почти рядом впереди обоза, а ночь не только не подходила к концу, но казалось, она потеряла конец. Никогда не перестанет налетать ветер с Ладоги, ни-

когда не будет рассвета, никогда они не дойдут до города, куда должны явиться с обозом.

«Как в сказке», — подумал Дымов. Они будут идти годами, умрут, и скелеты лошадей будут тащить прогнившие подводы, и скелеты-подводчики будут скрипеть костями на ржавой проволоке, а он, Дымов, прозрачный, как привидение, будет проверять, все ли подводы на месте, а комиссар... Черт знает что придет в голову, когда начинаешь засыпать на ходу... А комиссар — он что-то спрашивает.

— Эта улица кончится когда-нибудь? — спросил Глебов, поднявши воротник шинели и заложив руки в карманы.

— Эта кончится — другая начнется, — ответил Дымов, хотя прекрасно знал, что это не улица, а проспект, но ему нравилось называть его уничтожающе улицей, потому что и в самом деле это была деревенская улица с садами и домишками, с канавами и заборами. Только разве за длину назвали ее проспектом.

Дымов был зол на все, он был страшно зол на белых, которые шли сейчас с царским генералом Юденичем, которые угрожали ему уничтожением всех его мечтаний и надежд, угрожали возвратом всего старого, хотели его убить, растерзать. Он был зол на то, что он должен в такую холодную ночь идти по бесконечным дорогам куда-то в темноту и не знать, что несет ему завтрашний день. И вместе с этой злостью неясная тревога заползала в его сердце, и он недоверчиво посматривал на притихшие дома и заборы, точно ожидая, что оттуда вдруг из темноты загремят выстрелы по обозу, хотя знал, что этого не случится.

Он вспоминал о матери с сестрой. Они, может быть, не спят в

своем маленьком домике в Шлиссельбурге, на улочке, поросшей травой, с подмерзшими лужами, и тихо говорят о нем, не зная, что он идет с винтовкой в сырой, тяжелой шинели по черной ночной дороге неизвестно куда.

Вдруг он услышал смех. Это смеялся комиссар. Он смеялся искренним, душевным смехом человека, которому вдруг пришло на ум, что нельзя же быть все время серьезным, только серьезным.

— А чем тебе не нравится эта улица? — сказал он. — Я на ходу чуть подремывать стал, так мне сон приснился в одну секунду, что идем мы по этой улице, а она вся в громадных зданиях. Все окна открыты, и свет во всех горит, как иллюминация, и нам с тобой цветы бросают. Здорово! А открыл глаза — тьма, брат, на этой улице. А ты на какой улице родился?

— На несчастной улице я родился, — сказал с чувством Дымов, — на шлиссельбургских задворках, вот где. Извозчик, чтобы проехать, с козел слезал и кнутом коров прогонял, что посреди улицы лежали и дороги не давали. Тупик, а не улица, а вы говорите — иллюминация...

— Ну, молодой, ты еще свою счастливую улицу найдешь. Такую счастливую улицу обретешь, что вся в огнях, в золоте будет, как мне приснилась. Пляши и пой, веселись — вот такую улицу найдешь...

— Вы скажете, товарищ Глебов. Что-то вместо огней мы с вами в темноте шагаем, по булыжнику, и за нами обоз тарахтит не с золотом, а с лопатами да проволокой колючей. А правда, — вдруг спросил он совсем другим голосом, понизив его, — правда, Деникин к Туле подходит, а Колчак опять на Волгу вышел? А Юденич уже в Царском Селе, правда?

— Насчет Деникина и Колчака точно не знаю. А Юденич в Царском, это факт. А ты что — боишься, молодой, скажи?

— Я ничего не боюсь...

— Это хорошо, что не боишься. А чего ж ты хочешь? О чём думаешь?

— Я учиться хочу, вот чего я хочу...

— Вот эти мысли в самый раз, — сказал комиссар и хотел продолжать, но в эту минуту до них долетел какой-то громкий окрик. Подчиняясь ему, остановилась первая подвода, за ней другая, и постепенно встал весь обоз.

Возница, сидевший на борту подводы, сказал хрипло, со сна:

— Комиссара зовут в голову. Пропуск требуют. Застава...

Из темноты вышли штыки и перегородили дорогу. Комиссар вытащил пропуск из-за длинного обшлага своей шинели и показал его.

Командир долго рассматривал мятый от частого предъявления и складывания кусочек пожелтевшей бумаги. Потом спросил:

— С вами есть кто еще, кроме подводчиков?

— Есть три красноармейца, — сказал комиссар.

— Давно идете?

— Всю ночь идем...

— Ну, скоро отдохнуть будете, — сказал командир.

Штыки разошлись. Дорога была свободна. Обоз потянулся дальше.

— А знаешь, молодой, — Глебов подтолкнул Дымова локтем, — давайка и мы сядем. Садись на вторую подводу, я на первую сяду, а то ноги не палки — уходили.

Возчик, сидевший рядом с Глебовым, был одет в теплую, толстую черную куртку, в высоких сапогах, на руках — вязаные перчатки. Он сидел небритый, с потухшой трубкой



в зубах, с сизым от холода лицом. Молча подвинувшись и давая место комиссару, он через несколько минут сказал, как будто просто в темноту перед собой:

— Едем, все едем, а лошадей кормить где будем, да если сена с собой нет...

Глебов выпрямился в телеге насколько мог и ответил сразу, нахмутившись:

— А что сам не захватил? Говорили же — запастись. Скажешь, сена нет, бедняк. Скажешь — не говорили?

— Говорили, да ведь не думал, что всю ночь ехать. Думал — в Царское или в Павловск, на фронт, что ли, я не знаю, а тут конца нет...

— Как это в Царское? — вскинулся Глебов. — Да там же белые. К белым, к Юденичу?

— Я ничего не знаю. Я не разбираюсь в политике. Мне что. Я не воюю. У меня оружия нет. Вот подвода есть. Лошадь тоже есть. Куда прикажут — еду. А сена нет — то и говорю. Лошадь на ногах не стоит. А то возьмет — упадет...

— Не упадет, — сказал Глебов, — она у тебя здоровая, как и ты. Похудеет немного, на пользу ей.

— А куда идти будем? — спросил возница.

— Вперед! — сказал весело Глебов. — Большевики всегда вперед идут, а там разберемся.

Жестяная, холодная ночь кидала им навстречу как будто все одни и те же садики, дома, стены, заборы, но иногда проплывали высокие строения, деревья становились толпой, потом опять редели и также сменялись звуки. То стояла настороженная тишина, прорезанная какими-то тонкими скрипами, приглушенным собачьим лаем, далекими свистками поездных составов, то наплывал далекий гул, точно доносился шум

ночных работ неизвестного завода, слышались даже наплывы пушечной стрельбы где-то очень далеко, все чаще появлялись патрули, все чаще лез за обшлаг Глебов, вытаскивал пропуск и предъявлял его то шутившим, то мрачным, то недоверчиво осматривавшим обоз людям, которых рождала темнота.

Темнота, казалось, набилась в карманы и в уши. Как угольная пыль, она висела в воздухе. Обоз шел мимо длинных кирпичных амбаров, зданий, не похожих ни на что, так их очертания расплылись. Глебов качался, как мешок. Дымову приснилась улица, о которой рассказывал комиссар, — Счастливая улица с огнями, переливавшимися отливами червонного золота. Вдруг сон прервался. Резкий толчок чуть не сбросил его на катушки с телефонным проводом. Он приоткрыл глаза, обоз стоял посреди большой улицы с многоэтажными домами. Но ни одно окно не сияло червонным золотом. Тусклые стекла, как слепые зеркала, отражали блики разноцветных трамвайных огней.

Справа улица уходила куда-то вдаль, и конца ей не было видно. На всем ее протяжении блестели мокрым глянцем трамвайные рельсы, пешеходов не было. Рядом с обозом проходили трамвайные вагоны, тащившие на прицепе площадки и платформы, нагруженные мешками. Вагоновожатые звонили, давали сигналы, как в обычные часы. На мешках сидели и стояли люди, равнодушно смотревшие на обоз. Трамвайные площадки точно выплывали откуда-то из-за угла и уходили друг за другом, и в этой непонятной ночи они казались торжественными и полными особого смысла.

Слева, за неширокой площадью, освещенной огнями трамваев, виднелась большая стена, шедшая полу-

кругом, и в ней большие, красивые ворота, широко открытые. Из них появлялись люди, которые влезали на площадки трамваев и ехали в город.

Дымов, хорошо знавший город, сразу увидел, где они находятся. Они стояли посреди Старо-Невского проспекта, и прямо против них был вход в Александро-Невскую лавру. Возчики стучали нога об ногу, стоя у подвод, старались согреться, размахивая руками, били друг друга по спине. Комиссар внимательно оглядывался по сторонам. Он то подходил к углу улицы, то возвращался к подводам. Мимо него с тяжелым скрежетом и звоном проносились трамваи. Но никто не обращал внимания на комиссара и на обоз. Точно они, как призрачные люди и подводы, пришли в город, который живет своей, ни на что не похожей жизнью и ему нет дела до этихочных пришельцев. Дымов подошел к комиссару.

— Что будем делать? Куда пойдем?

Комиссар посмотрел на него, как будто впервые видел перед собой это обветренное, усталое юное лицо, и почесал щеку.

— Маяка-то нет,— сказал он,— тут было условлено — нас встретят, выставят маяк. Перерешими, что ли... Никого нет...

— Так пойдем прямо в штаб, в какой-нибудь районный,— воскликнул Дымов,— вы свяжетесь, и все в порядке!

— Не можем мы идти никуда,— ответил комиссар, облокачиваясь о подводу.

— Почему? — спросил Дымов, озадаченный решительным ответом Глебова.

— А, черт его,— вдруг мрачно произнес комиссар,— бодай его нечистую душу, я пропуск потерял.

Тут этих патрулей было столько. Вытаскивал, вытаскивал то и дело. За обшлаг совал. Вытрясло, что ли... Теперь нам пути по городу нету без пропуска...

— Как же быть? — Дымову стало внезапно холодно, точно ему предложили проделать снова весь путь в обратном порядке.

Возчик-колонист, который говорил с комиссаром о сене, тронул Глебова за плечо, но тот, как зачарованный, смотрел на ворота лавры, откуда выезжали в эту минуту грузовики, полные людей.

Потом вход в лавру закрыл трамвайный вагон, тащивший на прицепе платформу с песком и мешками.

Колонист снова тронул плечо Глебова.

— Что тебе? — спросил комиссар.

Показывая какой-то лоскут бумаги, возница проговорил:

— Не нужно это, начальник? Свернуть можно — бумага мягкая...

Глебов взял от него лоскут.

— Где нашел?

— Тут внизу валялся. Думал, ты, начальник, бросил. Курить можно?

— Я тебе дам курить,— воскликнул Глебов,— это пропуск мой. Он из обшлага, нечистый дух, выпал.

И, пряча снова за обшлаг поглубже пропуск и не обращая внимания на возницу, он сказал, схватив за руку Дымова:

— Нечего ждать и некого искать тут на улице. Будем ночевать. Все устали — и лошади и люди. Будем ночевать...

— А где? — спросил Дымов.

— Там,— указал на ворота лавры комиссар.

— В лавре?

— В лавре. Давай заворачивай туда всех. Скажи Мохину и Крын-

кину, чтобы смотрели, чтобы никто не отстал.

Это была, конечно, необыкновенная ночь. Никто не удивлялся тому, что совершалось в эту ночь. Поэтому обоз из восемнадцати подвод тяжело прокатился под гулкими сводами ворот лавры и втянулся внутрь этого городка могил, церквей и служебных домов.

Во внутренних пространствах лавры Дымов никогда не был, и все-таки он понимал, что в лавре полный переворот, потому что он видел не только белые кресты и черные ржавые венки, но и освещенные, несмотря на такой поздний час, окна в зданиях, выходящих на могилы, и множество людей в закоулках между деревьями и домами, и даже лошадей, не принадлежащих к его обозу.

— Слушай,— сказал ему Глебов,— я тут оставлю Крынкина и Мохина с этими друзьями,— он кивнул головой на колонистов,— а мы с тобой разделимся и пойдем на разведку, может быть, крышу найдем для людей, а лошади пусть пока тут постоят.

И вдруг все стало походить на цыганский табор. Возницы распрягали лошадей, откуда-то появились попоны, одеяла, начался гвалт, шум, возня, слышался начальственный голос Крынкина, наводившего порядок.

— Нехорошо,— сказал Мохин,— товарищ комиссар, это нехорошо...

— Что это нехорошо? — спросил Глебов, оглядываясь, как полководец в пылу боя.— Что вам кажется нехорошим?

— Нехорошо, что на кладбище заехали...

— Э, это, наоборот, хороший знак, сто лет жить будем,— засмеялся Глебов,— поищем, может, для ночлега что другое найдем... Пошли,

молодой... Я сейчас со штабом пытаюсь связаться.

Глебов направился в сторону ворот. Дымов пошел к двухэтажному дому, в окнах которого был такой ясный, спокойный свет, что просто манило к этому тихому и уютному свету.

Дымов прошел к нему напрямик через кусты, осторожно раздвигая ветви, бережно, чтобы не поломать, и дошел до высокой стены дома. Пройдя вдоль нее, он не обнаружил двери; по-видимому, вход был с противоположной стороны. Прямо над ним светилось так манившее его окно, за спиной он видел близко белевшие кресты на могилах.

Он нашел приступок, встав на который можно было заглянуть внутрь, но только на мгновение, потому что приступок был скользок и ноги на нем не держались. Напрягаясь изо всех сил, Дымов приподнялся на приступке и заглянул в окно. Перед ним была небольшая комната, освещенная настольной лампой, которую он не видел, так как она была на столике рядом с окном. В комнате стояли две или три кровати.

Дымов видел только спину женщины, сидевшей с книгой у кровати, на кровати лежал страшно бледный, с темными тенями у глаз, в повязке, охватывающей всю голову, молодой человек. Его неестественно раскрытые глаза смотрели на женщину в белом халате, но он, по-видимому, не слушал, что она ему читала. Он думал о чем-то своем. Он весь ушел в свои мысли. Женщина перевернула страницу. Вдруг глаза его перекинулись на окно, и он, возможно, увидел голову Дымова. Голова в окне так поразила его, что он закричал. Дымов не мог слышать его крика, но видел, как женщина вскочила, бросилась к нему. Дымов поте-

рял равновесие и, пролетев по стече-
ни, стоял, собираясь с духом. «Это
госпиталь, сиделка читает. Больше
ничего выяснить», — подумал он.
Ему захотелось еще раз взглянуть, —
а что, если сиделка обернется, по-
дойдет к окну и откроет его. Он тог-
да попросит ее пустить их с комис-
саром куда-нибудь переспать до
утра.

Он совершенно не был уверен,
что так и будет, но что-то надо было
делать. Он с трудом вскарабкался
на приступок и посмотрел в палату,
прижав лицо вплотную к стеклу.
Сиделка действительно встала и да-
же оглянулась на окно, но что было
далее, он не мог видеть, потому
что снова соскользнул вниз. Когда
Дымов в третий раз утвердился на
своем приступке, он ничего уже не
увидел: окно было закрыто плотной
занавеской.

По-видимому, сиделка решила,
что больному что-то кажется в окне,
и опустила занавеску.

Дымов пошел обратно через кус-
ты. Он обошел продолжавший гал-
деть табор, где уже два начальствен-
ных голоса — Крынкина и Мохи-
на — наводили порядок, и скоро сто-
ял перед длинным зданием с высо-
кими окнами и дверями, у каждой
двери было что-то вроде крыльца,
с широкими, плоскими ступенями,
на которых валялись пожухлые,
свернувшиеся листья.

Перед одной нагло закрытой
дверью, на золоченом стуле, — этот
золоченый стул особенно поразил
Дымова, — сидел монах, казавшийся
неестественно большим из-за огром-
ной, обтекавшей его, как мантиня, ря-
сы. Он сидел, как восковая кукла,
нелепый, неподвижный, насторожив-
шийся. Его глаза застыли. Казалось,
он заслушался нестройным гомоном
человеческих голосов, долетавших
отовсюду, конским ржаньем, визгом,

бессвязным криком, всей суматохой
ночного лагеря, в который преврати-
ли лавру.

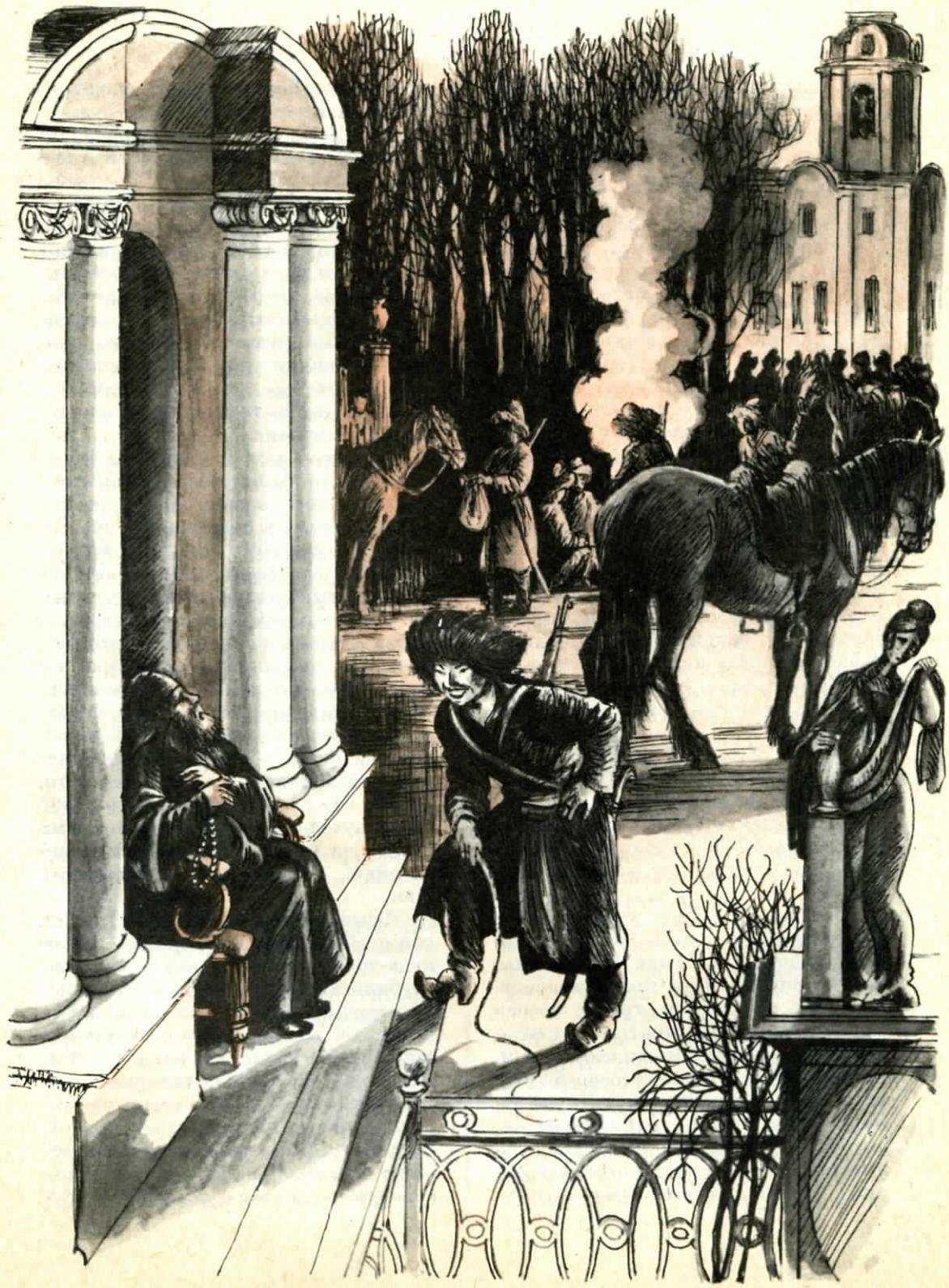
Он весь замер, только его тол-
стые пальцы тихо, но быстро переби-
рали четки, желтые старые янтар-
ные четки. Испуг был написан на
его темно-оранжевом, как кусок мя-
са, лице и светился в его глазах,
следивших с крайней растерянно-
стью за всеми движениями дьявола.

Дьявол же был необычен, и даже
Дымов немного опешил, увидя его.
Он был молод, слегка раскос, скуль-
ласт, дышал дьявольской молодо-
стью и силой, он разгуливал в лох-
матой, сбитой набекрень папахе,
сверкая зелеными глазами, показы-
вая большие сахарные зубы, смеясь
узким и сильным смехом. Он раз-
махивал нагайкой, которая то со
свистом резала воздух перед лицом
ошеломленного монаха, то проноси-
лась низко над землей и, совсем ос-
лабев, ударялась легко о желтые вы-
сокие сапоги с приподнятыми нос-
ками. У пояса дьявола болталась
шашка, изогнутая с какой-то наглой
щеголеватостью.

Этот дьявол прохаживался перед
монахом, изредка свистел каким-то
колдовским свистом. По такому
свисту является или волшебный
конь, или нечто вроде джинна-по-
мощника. Монах ждал страшного
конца и, чтобы отдалить его, судо-
рожно перебирал четки, пот тек по
его жирным, дряблым щекам. Губы
тряслись.

Дымов подошел ближе, как раз
когда дьявол в папахе взмахнул на-
гайкой, как шашкой, рассек воздух
перед самым носом монаха с такой
силой, что воздух заскрипел, и мона-
х, не выдержав, закрестился мел-
кими крестиками, забыв про четки.

Увидев Дымова, вид которого го-
ворил о его принадлежности к Крас-
ной Армии, дьявол широко раскрыл



рот, блеснув ослепительной улыбкой, и сказал:

— Батька шайтан какой, сидит, как бык, квартир не дает... Дай, говорю — не дает... Ах ты, батька шайтан...

— Так вы тоже квартиру ищете, — воскликнул Дымов радостно.

Было просто удивительно, что такой, как из сказки, невесть откуда взявшийся наездник вдруг, как и они с комиссаром, добивается приюта под крышей. С таким союзником Дымов, конечно, почувствовал себя куда сильнее. Но монах, услышав, что новый появившийся красный дьявол и старый, ему знакомый, говорят по-человечески, обрел неожиданную подвижность. Как будто с него слетело все оцепенение, он вскочил, схватил свой золоченый стул, толкнул широкой спиной дверь, влетел в нее с легкостью дымного облака и захлопнул ее так стремительно, что закричавший проклятье дьявол в папахе не успел достать его нагайкой. Она со свистом ударила о запертую дверь и прокатилась по ней сверху вниз.

Дымов невольно засмеялся. Засмеялся и широкоскулый великан и ударил нагайкой по сапогу.

— Пойдем, — сказал он, показывая нагайкой в глубину лаврских дворов, — башкирска дивизья... — добавил он.

Они пошли. Дымов увидел зарево над деревьями, костры оказались совсем рядом. Они были поставлены, как на сцене, среди могил и домов, и то, что они горели, треща, бросая золотые и красные отсветы на кресты и стены, делало все место необычным. Дымову стало страшно весело. Странно было вспомнить, что еще совсем недавно он шел по пустынной, холодной, черной дороге и думал грустные думы. И вдруг все заиграло перед ним огнями, шумом, разбежкалось

раздольем, раскрылось в каких-то глубоких неожиданностях.

Казалось, что это все происходит не в центре Петрограда, не в Александро-Невской лавре, а где-то на просторах степей, среди никогда не виденных им людей, которые толпились вокруг в удивительных шапках и нарядах. Но еще удивительнее были их лица, сиявшие при свете костров, как бронзовые маски, их тонкие коричневые руки, державшие винтовки и шашки или гладившие коней, морды которых как бы усмехались, высовываясь из кустов, звяня блестящими уздечками.

Дымов не мог отвести глаз от окружавшего его зрелица, потом стал искать своего знакомца, но он как будто растаял в родственной ему обстановке, слился с толпой, и как ни пробовал его отыскать Дымов, он все время натыкался на другого, похожего, и вот он уже совсем нашел его и хотел ударить по плечу, но это был двойник, совершенно схожий с тем великаном, но не он. Этот великан что-то добродушно сказал ему, фыркнул шутливо и отвернулся. Так, побродив среди пестрого бивака башкирской конницы, Дымов вернулся к месту, где сидел монах, но там уже было пусто, и только сцарапанная краска на двери, узкая полоса удара нагайки, напоминала о происшедшем.

Дымов набрел на какой-то проход, под слабо освещенной аркой. Он вел куда-то в глубину здания. Из этой глубины выходили люди. Все они были военные. Другие лежали на земле под аркой. Дымов пошел к этим лежащим, чтобы узнать, в чем дело. Может быть, они расположились на ночлег прямо на земле. Тут появилась группа людей, двигавшихся с криком и шумом. Среди них, размахивая руками во все стороны, шла женщина в халате и человек с повязкой на ру-

каве. На повязке Дымов увидел красивый крест.

— Товарищи, товарищи, — кричала женщина, поддерживая человека под руку, — доктор не обманывает вас. Уходите отсюда сейчас же. Уходите, если вам дорога жизнь. Вам нельзя тут находиться, никому нельзя. Здесь сыпнотифозный госпиталь. Вот посмотрите — все переполнено. Даже на земле, на полу лежат — вот посмотрите...

Люди смущенно шли к выходу, увлекая за собой Дымова. Последнее, что он видел, обернувшись, было лихорадочно горячее лицо, изможденное, костлявое, оно смотрело на него с носилок, положенных прямо на землю.

Дымов почти бежал от этого здания. Теперь он желал как можно скорее найти своих товарищей, он обращался даже подводам, набившимся во двор и стоявшим так тесно, что пробраться между ними можно было с трудом. Лошади спали стоя, но иные лежали на земле на боку и хранили, как люди. Иные жевали сено, которое лежало у их ног. По-видимому, комиссар достал его у кавалеристов. Горели маленькие костры, и у одного из них сидели Мохин и Крынкин и пили, прихлебывая и обжигаясь, из больших эмалированных кружек чай странного морковного бледного цвета.

— Садись, — сказал Мохин Дымову приветственно и покровительственно.

— А где же люди? — спросил Дымов, садясь и прислоняясь к колесу.

— Какие тебе люди? А мы разве не люди? — ответил Мохин. — Дай ему, Крынкин, у тебя есть запасная кружка, складная...

— Где наши подводчики, колонисты? — спросил Дымов.

— А они тут на сене спят. Им

что — они толстые, холод их не пройдет, им не воевать...

— Послушай, что скажу. — Крынкин достал из сумки складывающийся стаканчик и, по-детски любуясь им, раскрыл его, потом, сильно встряхнув, укрепил его стенки. — Ты знаешь, почем они нынче за картофель берут. Восемьдесят целковых за фунт. Видал? А масло стоит, что в раю, — полторы тысячи рублей отдашь за фунт. Вот, милый, как они для рабочего человека стараются. Им что. Вон спят, как миллионеры. Это не то что тебе или ему, спи не спи — завтра воевать. Он спит и во сне белых видит... На, пей. Хлеб есть?

— Есть, — сказал Дымов, и Мохин налил ему из видавшего виды чайника бледного морковного чаю.

— А где комиссар? — спросил Дымов, с удовольствием чувствуя, как хорош горячий, хватающий за душу своим ожогом чай и кусок хлеба, расползающийся во рту, как халва, из-за примеси овсяной муки.

— Комиссар в штаб дивизии звонить пошел, а то еще куда, в общем — по начальству. Маяка-то нам не дали. Тоже порядки, но хорошо, что хоть ночью дальше не надо. Раз неизвестно куда предназначены — значит, стой, отдых. Спи! Спать-то, правда, тут не очень... — сказал он, оглядываясь на конские морды, сонно хлопавшие веками на огонь.

Чай пили долго, медленно, пока не вышел весь хлеб. Крошки подобрали и бросили в кружки. Потом Мохин сказал:

— Тут один из этих колонистов наших давеча спрашивал: «А правда ли, что Деникин к Туле подходит, а Юденич уже в Царском...»

— Ну, а ты? — сказал Крынкин.

При этих словах лицо Дымова вспыхнуло. Точно такие же вопросы задавал он комиссару на дороге.

— А я что. Я говорю: правда та,

что у нас в руках,— и показал ему винтовку, с этой, говорю, правдой нам никакие Деникины не страшны.

— А он?

— А он говорит, вот слух есть — под Лугой или Сиверской, что ли, помещики все обратно отбирают, чтоб в полчаса все, что взяли в поместье мужики, значит, должны вернуть, и землю в первую очередь.

— Ишь язва какая,— сказал Крынкин,— просвещенный, колонист-то наш, все знает, что где. То-то сегодня сбежать двое хотели...

— А мне тоже один сказал по дороге: мы, говорит, тут мерзнем, а генерал-то Юденич в царских покоях на перине спит...

— Вот холера,— сказал Крынкин,— я бы за такой разговор стукнул бы его из винтовки, и все...

— А кто лошадь его поведет с подводой? Стукнуть всегда можно. Это не к спеху...

— Гад Юденич на Питер зарится, хочет идти! — сказал Дымов.

— Да и пойдет, а как же — что ж ты его план не соображаешь. Правильно тебя комиссар молодым зовет. Мы, старые солдаты, все превзошли. Уже под Питером не первый раз сражаемся...

— Если белые верх возьмут, — как бы отвечая на свои мысли, вслух сказал Дымов,— я в конторщики не вернусь. Шею гнуть не буду...

Мохин усмехнулся.

— А куда ж ты денешься? — спросил он серьезно.

— Я бродяжить пойду, на Волгу, на Урал, в Сибирь...

— Это зачем? — Крынкин начал свертывать толстую самокрутку.— Что делать будешь?

— Ходить буду, у народа учиться, народ учить...

— Чему ж ты будешь народ учить, сам не больно ученый...

— По этой части я ученый. Че-

му учить? Бунтоваться учить, как всех генералов белых передушить, и помещиков, и богачей...

Оба красноармейца засмеялись враз.

— Занятный ты. Как поглядеть — молодой, без опыта, а вон как обличаешь. Что ты думаешь, один ты, что ли, так понимаешь? Знаешь, какая сейчас драка будет с этим Юденичем. Ленин нам пишет: стой, Питер, помочь идет. Давай бей. Жарко ему будет, Юденичу-то. Вон одни мы сколько на укрепление везем. А вокруг что строят. А ты: белые верх возьмут. Черта они возьмут!

Дымов хотел ответить, что он так окончательно не думал, что просто он сказал для примера, но тут над костром встала фигура в лохматой папахе. Дымов узнал своего башкира, что дразнил и пугал монаха.

Башкир сказал, похлопав по плечу Дымова:

— Джигит урус, воевать будем, Юденича кончать будем, ай, хорошо...

— Хорошо, конечно,— сказал Мохин, несколько удивленно смотря снизу вверх на великана,— ишь, брат, и Азия тут, и Азия поднялась. Башкиры эти ему дадут...

Башкир, как фокусник, вынул из мешочка, который невесть как появился в его руке, несколько кусков мягкого вареного мяса и протянул его сидевшим.

— Что это? — спросил Дымов.

— Душистый... жеребенок мясо,— сказал башкир, вытирая руку о мешочек,— кушай здоровье...

— Сказали бы мне перед войной,— воскликнул, пожевав мясо, Мохин,— что буду конину употреблять, засмеяли бы дома, а вот ему... Мясо как мясо, дай боже побольше... Спасибо, товарищ, хороший жеребчик.

— Спасибо,— сказал Дымов. Он ел мясо по маленьким кусочкам, и оно действительно таяло во рту.

— Что же тебе дать-то,— сказал Крынкин.— КуриТЬ хочешь? — Он протянул кисет. Но джигит, захочет, посмотрел, как они едят мясо, повернулся и исчез так же внезапно, как появился.

— А знаешь, что я тебе скажу,— я у Пулкова китайцев видел. Честное слово. С нами на Юденича идут... — Мохин курил, и ему было так привольно, когда он согрелся и поел немного, что он был склонен к беседе неторопливой, интересной.

— Когда ты их видел? — спросил Дымов.

— На днях видел. Есть даже по-русски немного понимают. Все добровольцы...

— Откуда же они взялись? Неужели из Китая?

— Ну, зачем из Китая. Я тебе расскажу. Они из Финляндии. Там еще при царе привезли их окопы рыть. Набирали их в Маньчжурии на работы, против немцев укрепления строить. Боялись десанта немецкого. Я их там видел, стояли в охранении в береговом. Ну, а как революция, им работы нет, домой надо ехать, до-мой охота, а тут генерал Юденич, Деникин, Колчак поперек дороги встали. А китайцы — они за революцию и чтобы домой. Вот они в Красную Армию записались, чтобы себе путь домой освободить. Смекаешь, молодой. Упрямые, черти, через всю Россию им идти нужно, как думаешь — дойдут?

— Думаю, дойдут, — сказал Крынкин,— они такие — дойдут!

Все замолчали, как будто каждый представлял себе тот невероятный путь, который должны пройти китайцы, чтобы дойти до дому, и этот путь казался таким длинным, как до луны.

— Ну, что ж, вроде как поели и попили, и спать можно. Давай, ребята, по очереди за костром после-

дим, а свободным от наряда спать...

Когда комиссар Глебов отыскал своих, Мохин и Крынкин спали, прижавшись друг к другу, а Дымов сидел, помешивая дрова, и Глебов увидел, что он совсем свежий, и приписал это его цветущей молодости.

Глебов сел, раскрывая полы своей длинной кавалерийской шинели, и спросил:

— Ну, как без меня жили?

— Ничего, жили.— И Дымов рассказал ему свои приключения и о том, как к ним приходил башкир и угождал жеребячым мясом.

— А я выяснил все. Завтра с утра приведемся в порядок, закусим чем есть и пойдем. Пойдем через город — в направлении к Лигову. Там уточнимся. Вот куда... А теперь я тут тоже прилягу на минутку. Кто тебя сменяет?

— Мохин!

— Ну, вот ты ему и расскажи про наш завтрашний порядок, а он пусть и Крынкину расскажет. Покойной ночи, молодой!

...Теперь уже при бледном свете осеннего солнца тянулись черные подводы, нагруженные шанцевым инструментом, телефонным проводом, колючей проволокой, и так же на первой подводе ехал комиссар Глебов, на второй — Алексей Дымов и в конце обоза Мохин и Крынкин.

Всем хотелось спать, но заботы нового дня не позволяли даже подумать об этом.

Мохин и Крынкин ехали, поставив винтовки между колен, и скучно перекидывались словами с возницами, которых только строжайший приказ заставил двинуться не к дому.

Они успокоились лишь тогда, когда Глебов им очень убедительно объяснил, что от места, куда они доставят обоз, им будет близко до дому, потому что они за ночь и за день совершают вроде кругового маршрута

и придут почти туда, откуда вышли.

Снова соскакивали с подвод Глебов и Дымов и шли рядом, разговаривая. Но они шли с другим настроением, чем вчера в промозглой темноте. Теперь их окружали окраины города, но даже эти окраины были полны пусть томительной и мучительной, но прелести. При таком проезде бросалась в глаза особенность каждой улицы, каждого закоулка, и все это было частью великого города, неотъемлемой от его единства. И всему этому распространившемуся на огромное пространство городу угрожал враг, который подошел уже так близко, что грозил и этим маленьким переулкам, и этим большим заводам — ветеранам революции, чьи трубы отсюда, где они ехали, были особенно резко видны.

Глебов и Дымов видели, что они едут, по сути говоря, вдоль города-фронт, где все вооружается для отражения вражеского нападения. Колючая проволока опутывала поля, на которых рабочие рыли окопы, та же проволока опоясывала улицы и переулки, черные бреши сквозили в кирпичных стенах, перекрывших угловые окна домов, выходивших на перекресток. По крышам домов ползали телефонисты, налаживая телефонную связь, стояли уже готовые пулеметные гнезда, ждавшие пулеметчиков.

И хотя день был ненастный, холодный, тяжелые тучи стояли над городом, но грозное его величье от этого ненастного освещения становилось еще ощутимее. Сквозили сухими ребрами полуразобранные деревянные дома, было пустынно и тихо в огородах, голые деревья стояли в пригорюнившихся садиках, люди в ватниках и даже в тулупах, несмотря на осень, катили перед собой тележки с пожитками, перебираясь дальше в город из угрожаемого района.

Иногда Глебов начинал заговаривать с Дымовым.

— Да, вот какие дела. Учиться хочешь, молодой. Вот отвоюем, учись — всю жизнь, сколько хочешь, а сейчас воевать придется, никуда не уйдешь — придется...

— Когда воевать кончим? — отвечал Дымов. — Уже два года за революцию воюем. Одного генерала кончим — другой вылезает. Сколько их там еще осталось...

— Нас больше, — Глебов крутил свои тонкие рыжие усы, — их на нас не хватит. Но повоевать придется. Держись, сынок.

В середине дня они достигли линии, которая на картах штаба внутренней обороны Петрограда значилась как первый рубеж, который должен был остановить противника. Но это знал только комиссар Глебов.

Накрапывал мелкий, как из сита, дождь. Тучи стали еще ниже. Поплыли места, пересеченные небольшими оврагами, поросшими рыжими, железными травами, репейником, крапивой.

Места эти были грустные, но грустнее их было пространство, одним концом упиравшееся в мелкие серые волны, набегавшие на Турухтанские острова, и другим примыкавшее к деревне Емельяновке, за которой высился, как боевые ростры, трубы Путиловского завода.

Глебов оставил обоз и пошел выяснять обстановку. Он отсутствовал больше часа, из чего Дымов заключил, что они почти дошли до места и комиссар занимается организацией разгрузки.

Ожидая комиссара, он не сводил глаз с дыма большого пожара, совсем рядом с местом, где остановился обоз. Оттуда долетали какие-то крики, гул и треск. Комиссар вернулся и, показывая на эти вихри дыма, в которых метался миллион

искр, как-то просто и даже почти весело сказал Дымову:

— Вот, брат, молодой, иди сюда, вот и повезло тебе. Ты мне говорил ночью, что на несчастной улице родился, а я тебе обещал, что ты счастливую улицу найдешь. Повезло же тебе. В кой веки Счастливую улицу нашли, а и ту сейчас жгут. Это тебе будет удача большая... Иди-ка сюда...

И весь обоз, подтянувшись, остановился перед зреющим, которое не могло не поразить. Дымов смотрел на казавшееся несчетным скопление деревянных, изъеденных временем, покосившихся, низких домиков, сгорбленных, с серыми крыльями, мшистыми, старыми крышами. Сейчас все это скопление нищих, унылых жилищ, со всеми пристройками и балкончиками, сарающими и чердачками пыпало так, что яркое красное пламя, вздымающее тучи гривастого дыма, свирепствовало, как настоящая стихия, не щадя ничего и торжествуя полную победу.

Никто не тушил этот гигантский костер, никто не боролся с огнем. Никто не бегал с ведрами, никто не командовал, как его атаковать, никаких пожарных не было поблизости.

— Что же это такое? — воскликнул Дымов, втайне удивляясь, как совпадает цвет пламени, когда оно завивалось червонными волнами, с цветом увиденного им во сне золотого моря огней.

— Эта улица называлась Счастливой улицей. Почему — этого я тебе не скажу. Знаешь, как иногда называется, — от обратного. Видишь, какое тут счастье обитало. Эта улица мешает нашему артиллерийскому обстрелу. Для расчистки обстрела нужно немедленно уничтожить эту улицу, чтобы она исчезла в самый короткий срок с лица земли.

Но кто же жжет ее, кто жжет! — закричал Глебов вдруг с самой горой яростью. — Сами жгут. Рабочие жгут. Смотри...

Дымов как-то сразу увидел перед собой весь этот бедный заставский люд, собравшийся здесь. Рабочие, мелкие ремесленники, мастера на все руки, поденщики, чернорабочие, народ, похлебавший горя на своем веку.

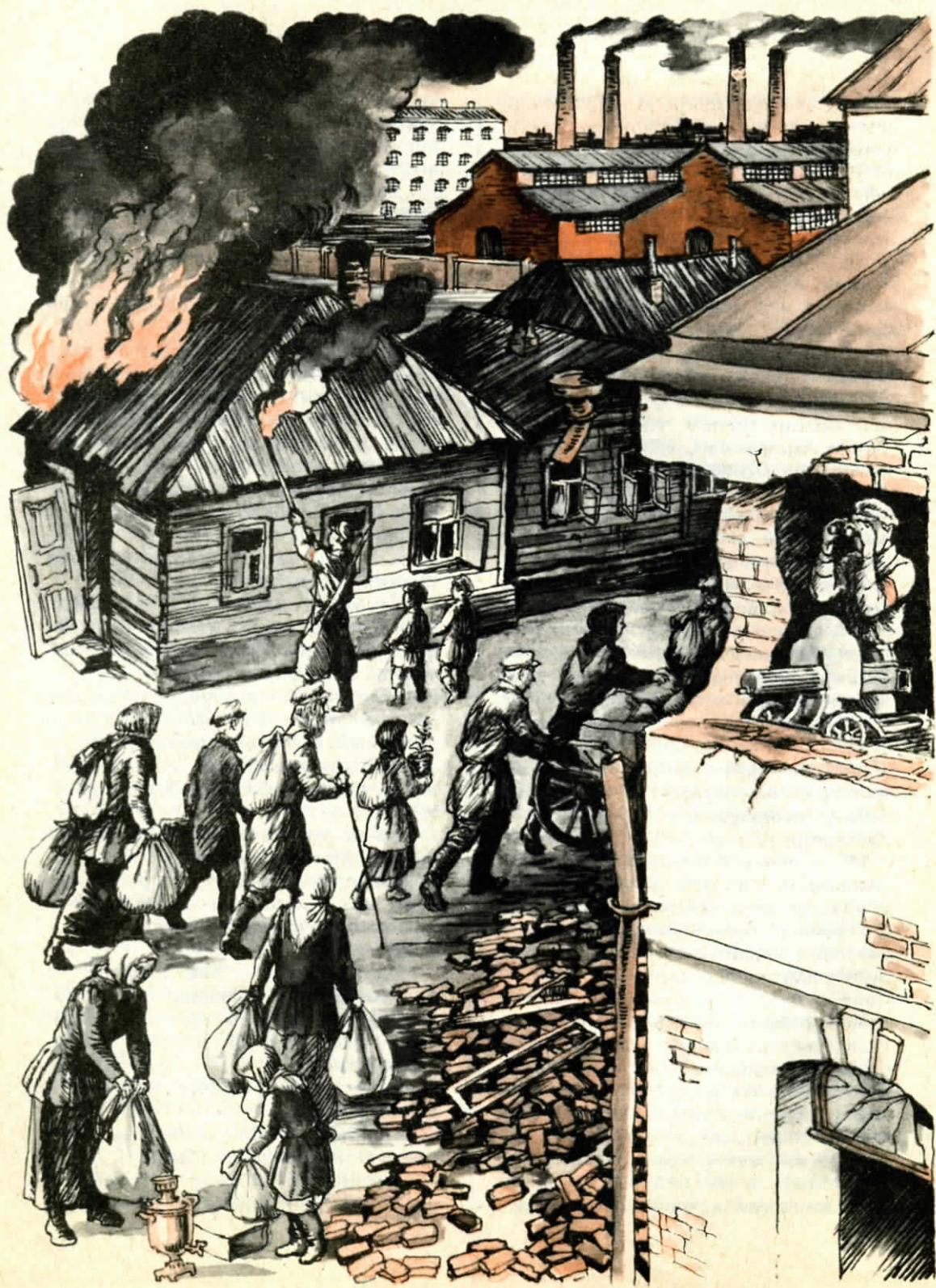
И вот теперь они вышли со всем своим нищим скарбом, со всеми своими узелками, тряпками, корзинками, жалкой мебелью, кухонными столами, железными кроватями, самоварами, чайниками, ведрами, со всем барабахлом, накопившимся за целую жизнь. Вышли с детьми и со стариками и старухами на холодную, покрытую лужами улицу под мелкий, осенний дождь.

Старухи плакали и крестились, дети бегали вдоль пожара, мужчины распоряжались уничтожением улицы. Они знали, что получат другие квартиры — в городе, подальше от этого места. Но улицу надо было уничтожить. И они помогали огню, став его союзниками, как порывы ветра, разносившие огонь и вздувавшие его до низких туч.

Из-за товарной ветки железной дороги доносились свистки маневрировавших поездов, со стороны Лигова ветер приносил звуки перестрелки, дым дальних пожаров подымался над Пулковом.

Дымов видел, как рабочие и красноармейцы разваливают стены, пробивают дыры в крышах, выбивают окна. Всюду плясал, ревел, гудел огонь.

Ребятишки носились между падающих балок, под искрами, летящими огненными стайками, как вспугнутые пожаром птицы. Гул человеческих голосов, прерывистый плач старух, причитания, слова



команды — все покрывал шум падающих домов и гул нового вихря огня.

Дымов стоял среди множества людей, говоривших сразу. Он слышал отдельные фразы.

— Горит-то... горит-то давно, с самого утра. Да еще вон сколько осталось. Надо спешить...

— Ждать нельзя. Надо кончать... А то он как нагрянет.

Другой голос кому-то рассказывал:

— А что, если надо, мы сами соожжем нашу улицу. Все равно мы верх возьмем и в таких хибараах жить не станем. Построим себе получше, по-настоящему построим. А потому и жжем! Подумаешь! Нашим братишкам-артиллеристам так будет сподручнее гадов белых бить...

Перед Дымовым пылала неистовым, очищающим огнем печальная Счастливая улица. Как будто огонь хотел уничтожить все до последней щепки, до последней стенки, до последней ставни, чтобы никогда больше не глядели на свет слепые окна, чтобы исчезла с лица земли вся ее нищета, вся грязь и ветошь, унижавшие трудового, рабочего человека, который с оружием в руках отставал свое будущее.

Рушились обгорелые балки, свертывались от жары железные крыши, падали опаленные деревца, прижимавшиеся к огненным стенам, летели обгорелые куски обоев, пакли, соломы, тряпок, кисеи, каких-то желтых бумаг.

Когда явственно доносились выстрелы со стороны Пулкова и Лигова, вся толпа поворачивала головы в ту сторону, как будто одна мысль владела этими людьми: успеть, успеть разрушить эту улицу, чтобы черный пепел ее разметать до конца. Успеем ли?

И как будто, слитые в одну волю,

отвечали сами себе: успеем. Давай дружней! Больше огня! Успеем!

Обоз разгружали. Красноармейцы снимали катушки телефонного провода, переносили на палках клубки колючей проволоки, разбирали лопаты, ломы, кирки, мотыги, пилы, топоры. Рабочие стояли в очередь за шанцевым инструментом.

Все шло спокойно, уверенно, организованно. Глебов не видел, увлеченный работой, как уезжали одна за другой подводы. Но когда он расправил спину, он увидел новое зрелище. Повсюду, куда он ни смотрел, люди уже приступили к работе. Рабочие и красноармейцы рыли окопы, забивали колья для проволочных заграждений, собирались в команды, ожидая окончания пожара.

Дымов почувствовал, как ему вдруг стало тепло, даже жарко. Он весь был охвачен непонятным волнением. Он потерял представление о времени. Он работал вместе со всеми, распределял инструмент, потом бросался в самый огонь и помогал ему, как мог. Он очнулся тогда, когда на месте Счастливой улицы лежал длинный почерневший пустырь, и на этом пустыре люди размечали, как пойдет линия окопов.

К нему подошел комиссар Глебов с высоким, костищным и широкоплечим рабочим. Дымов был уже полон возбуждения. Никакие тоскливы краски больше не имели власти над ним. Не то праздник, не то горе носилось в воздухе: но это ощущение необычного, это слияние с волей и судьбой тысяч людей давало ему какую-то удивительную уверенность, ясность и силу.

— Как хорошо! — невольно сказал он вслух.

— Что хорошо? — воскликнул Глебов. — Твоя Счастливая улица погорела, а он кричит «хорошо!». Чудак, молодой!

Высокий рабочий положил свою руку на плечо Дымову.

— Не горюй, парень! И верно, хорошо! Все прошлое сожгли — все будущее у нас в руках. Живем и как еще жить будем!

«ПУТЬ ОКТЯБРЯ»

Он медленно погасал, весь в золотых искрах, в медвяно-красных разводах, зеленоватых шелковых расплывах, весенний туркменский вечер.

Люди в чайхане пили зеленый чай, пиалу за пиалой, он облегчал душу, утолял жажду, изгонял усталость после пронизанного нестерпимой жарой дня. Над чайханными коврами, как бронзовый идол, окруженный поклонением, высился медноплечий великанский самовар, окутанный завитками пара.

Мимо, на фоне чуть мутных шафрановых песчаных холмов, закрывавших бархатистые дали пустыни, шли верблюды, припадая на тяжелые, широкие ступни, позывая бубенцами. Черные юки и мохнатые старые горбы не привлекали ничьего внимания. Как будто проходила процессия призраков из дальних времен, которую глаз просто регистрировал.

Потом вслед за караваном появились два всадника. Их четкая, как врезанная, посадка, высокие туркменские папахи, сильные, напряженные, худые фигуры вызвали интерес только у некоторых, которые пытались признать в них своих знакомых.

Но когда они убедились, что это неизвестные проезжие, то вернулись к чайнику и к пиалам, хотя всадники на закате были очень картины и напоминали истории о набегах, странствиях в пустыне, о молодечест-

ве и туркменской храбрости кочевников.

Люди в чайхане продолжали говорить, пить чай, читать газеты и наслаждаться прохладными вздохами пустыни, остыавшей стремительно по мере того, как солнце заходило за барханы и в воздухе заметно похолодало.

И вдруг мы увидели такой необычайный силуэт, там, где проходили верблюды и лошади, что все в чайхане пришли в волнение. Люди оставляли чайники и ковры и спешили на улицу. Прямо на нас, пыхтя, как маленький дракон, полз трактор. И на тракторе, как на троне, важно и самодовольно восседал молодой, черновусый, с острыми, пронзительно угольными глазами туркмен. Ему самому нравилось сидеть на этой неказистой, ладно сбитой машине. Он правил прямо к чайхане, и народ расступался, пропуская его.

Потом он остановил машину, слез, начал обтирать тряпками, как лошадь, трактор, и вокруг заговорили.

Кто трогал удивленно и недоверчиво колеса, кто заглядывал внутрь, кто пытался дотянуться до руля. Тракторист, гордый и чуть взъявленный, отвечал сразу на все стороны.

— Колхоз-то там получится, скажи? — спросили его. — Что-то они долго рассуждают?

Тракторист сразу же закричал:

— Конечно, получится. Там баи еще воду мутят, но им несдобровать. Я оттуда только что. Будет колхоз, хотят назвать «Путь Октября»!

— Хорошее название, — сказал морщинистый, с длинной коричневой шеей крестьянин, — если так назовут, на путь твердо вступят. А баев мы добьем. Мы тоже три дня и три ночи спорили. А потом была наша победа...



Пока тракторист вел жаркую беседу с окружившими его туркменами, мы тоже обменивались впечатлениями от прошедшего дня.

— Трактор, — сказал наш спутник, инженер по ирригации Смирновский, большой человек, с иссиня-черным лицом от загара, в полотняной белой рубахе, синих военных штанах и брезентовых сапогах, — он теперь прочно войдет в хозяйство колхозной Туркмении. Сейчас, конечно, хлопот не оберешься. Колхозы ставить — новое дело. Там, глядишь, он и развалился от неуменья организаторов, там бай постарались, там — встал да, как говорится, влачит дни, ну, а иные взялись крепко, у них пойдет...

— Революция пришла в пустыню, — ответил молодой наш друг, туркмен Мурад, — у нас тридцатый год сейчас, а посмотрите, через десять лет не узнаете республику, будут такие колхозы, такие города, не то что Аннау, чьи развалины сегодня видели...

Мы действительно мимоходом осматривали эти величавые руины, посреди которых уцелела, правда не целиком, мечеть. Мечеть эта вставала глиняной горой, с сохранившимся большим порталом, с легко вознесенной аркой и плоским куполом. Белые арабские вязи на синем фоне обводили странно выглядевшие на мечети изображения двух драконов с зелеными, тускло поблескивавшими хвостами.

— Откуда там, кстати, китайские драконы? — спросил я. — Возможно, что китайцы заходили так далеко в эти места, что, приняв ислам, сохранили дракона, или это воспоминание о неудачном походе Тимура на Китай, ведь мечеть строили уже во времена Бабура?

— Надо спросить самих китайцев, — засмеялся сосед, агроном, —

у них поискать сведений об этой мечети...

— Они теперь этим не занимаются, — сказал Смирновский, — им не до драконов. Вон сегодня в газете есть, что в Китае, в уездном городе Наньси и в уездах (он отыскал в газете телеграмму) ... в уездах Чжунсянь и Фынду в провинции Сычуань совершился переворот и возникло советское правительство...

— Ничего не знаю о китайцах, — сказал Мурад, — никогда не видел. Даже не могу представить, как они дерутся, хорошо, плохо... Если переворот сделали — значит, неплохо получается...

— Я видел только продавцов, что по городам бродили, до революции, — сказал агроном, — чесучу продавали, шелк, веера, зонтики. Но по nim судить о сегодняшних китайцах нельзя, конечно...

— Я вам могу рассказать о китайцах кое-что, — Смирновский отставил пиалу и лег поудобнее, подобрав под локоть несколько мягких подушек, — я их знаю по гражданской войне. У нас в армии их было целое подразделение.

— Ну, и как же они сражались?

— Сражались они с отменной храбростью. Даже из пулемета стреляли диковинно — все бойцы наши этому удивлялись. Один китаец бежит, и на спине у него легкий пулемет, а другой на ходу из этого пулемета бьет. Зрелище! Гибкие они были, ловкие, ползать могли, как пластуны. Говорить, конечно, по-русски не очень чтоб говорили...

— Как же вы с ними объяснялись?

— У них были свои командиры. Я помню такого одного. Мы звали его просто Вася, он за приказами приходил, и все объяснения, какие надо, мы с ним имели, а он потом

объяснялся со своими земляками. Преданы они были революции неимоверно. И очень храбры. К боли малочувствительны, или, вернее, очень волевые. Китаец-боец ни кричать, ни плакать не будет. Даже если умирает. Сидит тяжелораненый и думает. Говорит мало.

Пришли мы уже освобождать Кубань.

До этой поры у нас никаких недоразумений не было никогда. Китайские командиры были и за комиссаров, объясняли китайцам политическое положение. Мы имели полный контакт. А тут приходит Вася, и я вижу, что он недоволен чем-то. «Что с тобой, Вася, спрашиваю, ты плохо себя чувствуешь, или бойцы на что жалуются?» — «Я, — говорит он, — на плохо не жаловался, ничего плохого нет, а плохо бойцы жалуются...» — «На что же они жалуются?» — спрашиваю. Вася замялся. Потом говорит: «Почему ваша Красна Армия бежит атака, что то кричит много, громко кричит, наша Китайска Красна Армия бежит атака, ничего не кричит громко. Почему так нехорошо получается?»

Я смотрю на него — шутит он, что ли, не пойму. Вижу — не шутит. Тогда я с другого конца подхожу. «Вася, говорю, ты думаешь, это заклинание какое-нибудь против пуль и снарядов они кричат, колдуют, что ли?» — «Нет, — отвечает Вася, — колдун не верю, заклинаний не верю, а что они кричат, когда бегут, а мы не кричим...» Тут до меня дошло. Я засмеялся себе не позволил, но слегка улыбнулся. «Я, говорю, Вася, тебе все объясню. Они кричат: «За родную Кубань!» Мы же сейчас на Кубани воюем, освобождаем от белых Кубань, вот они и кричат: «За родную Кубань!» — то есть за ее освобождение ничего неожи-

даем, умрем, а освободим от белых. Китайцам это кричать зачем. Понятно? Их родина Китай».

Он подумал, подумал, упрямый был. Говорит: «Напиши мне большими буквами, как они кричат: «За родную Кубань!» — «Зачем тебе?» — «Надо, говорит, пиши сейчас, пиши, — сам засмеялся, — не ленись, пиши». Ну, если он засмеялся, то, значит, понял. Написал ему я на бумагке большими буквами, и он ушел.

А потом на другой день меня зовут: посмотрите, товарищ командир, что Вася делает. Хоровому пению, что ли, своих учит. Я пошел на бугор и вижу. Сидят китайцы, как в классе, десятками, и перед каждым десятком ходит как бы инструктор, и по его команде они начинают что-то кричать. Он командует, по-видимому, чтобы они еще громче кричали, потому что они так кричат, что далеко их крик слышен. Стал прислушиваться. Ничего не разбираю. Послал одного красноармейца аккуратно узнать, что они так старательно кричат. Он вернулся и говорит: «Докладываю, товарищ начальник, что они кричат хором, как на параде: «За родную Кубань!» — а так как Кубань им не выговорить, то они кричат «Кубань». Здорово получается... Послушайте!» И мы слушали, как Вася обучал этому крику своих китайцев...

А наутро был бой с беляками. И как двинулись цепи в атаку, наши орлы во все горло кричат: «За родную Кубань!» — и прямо в штыки. Смотрим, смятение у белых на фланге. Что такое там происходит? Китайцы, наши дорогие друзья, с криком: «За родную Кубань!» — так нажимают, что белые уже позицию сдаают. Не выдержали, как услыхали, что китайцы в атаке кричат. А с криком этим боевым, Вася был

прав, атака получилась грознее, сдержаннейше.

Крик, как призыв, укреплял силу, волновал, сосредоточивал на главном. Этого вот я сразу не понял, а Вася сообразил, что молча наступать хуже. А с лозунгом веселей. Еще я подумал, Кубань породнила нас в боях друг с другом. Вроде как бы и китайцам стала близкой. Земля, видят, богатая, может, даже их родину напоминает, за ее свободу в бой идти стоят...

— Вопросов нет,— сказал шутливо агроном, когда Смирновский кончил рассказ,— вон туркмены около трактора толпятся, иные его первый раз ведь видят. А тракторист сказал, что они хотят колхоз назвать «Путь Октября». Я подумал, сколько народов после революции нашей на путь Октября вступили. И каждый по-своему...

Вечер продолжал изливать благоуханную прохладу. Все молча пили новые пиалы чая. Трактор ушел. Дорога стала темной. Понемногу люди расходились, но подходили еще, приезжали всадники, шуршали в песках шаги, в темноте подымали шум тракторы, возвращавшиеся с ночной пахоты, раздавались веселые молодые, охрипшие от хорошей встряски голоса.

Потом над молодой туркменской республикой рас простерлась глубокая ночь первой колхозной весны. Постепенно затихали голоса людей и машин. Чайханщик сидел, качая сонной головой, у подножия самоварного идола. Люди в чайхане погружались в короткий, жаркий сон...

...Осенние цветы Ханькоу полны буйной силы. Особенно густых, тяжелых красок достигают хризантемы. Но те цветы, что я видел перед собой, были белые, или почти белые, или нежных желто-лимонных

оттенков, потому что это были цветы грусти, цветы, принесенные в дар мертвым.

Я видел спокойное небо, с которого еще лилась на землю небогатая теплота ноябрьского полдня, видел деревья, еще сохранившие листву, слышал тишину вокруг, напряженную, нарочитую тишину сосредоточения многих людей, собравшихся в одно место и вставших в молчании перед невысокой решеткой, на площадке, где стояли горшки с белыми хризантемами и карликовыми туями и кипарисами.

Но я смотрел на белый мраморный столб, на котором распростерлись крылья с пятиконечной звездой и под ними выступало начало надписи: «Вечная слава...»

Мы прислонили громадное, искарящееся всеми красками цветистое колесо венка, за окружность которого выходили темно-зеленые лопасти жестких лавровых листьев, к одной из широких каменных чащ перед столбом. Венок поддерживали гибкие бамбуковые палки, упирающиеся в землю с двух сторон.

Этот белоснежный столб говорил о многом, почему молчание пришедших людей не было официальным. Много мыслей рождалось в эти минуты короткого сосредоточенного раздумья. Мы стояли на кладбище, где десятки лет хоронили европейцев, отчего оно носило название международного. В этой крепкой, сухой земле на берегу древней Янцзы лежал прах управителей бесчисленных концессий, владельцев факторий, инженеров, приехавших за высоким заработком, негоциантов, богатевших на китайском внутреннем рынке, банкиров, покупавших генералов и чиновников, всех тех, кто приезжал сюда вовсе не затем, чтобы остаться здесь навсегда, приезжал, чтобы увезти отсюда домой

заработанные в колонии хорошие прибыли.

Белоснежный мраморный столб с крыльями и пятиугольной звездой стоял над останками советских летчиков-добровольцев — героев воздушных боев с японскими захватчиками.

Они погибли, защищая эту непокорную, свободолюбивую, трудную землю Ухана и эту широкую, могучую, необъятную Янцзы, по которой скользят бесчисленные корабли и плоты.

Церемония кончилась. Мы уходили тихо, не торопясь, не нарушая спешностью наших шаговдержанности, которую требовало это место печали и воспоминаний. Пожилой китаец, с молодыми, ясными глазами, сказал мне:

— Я видел сам воздушный бой двадцать девятого апреля тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Я видел, как с востока приближалось к городу много-много японских самолетов. Они летели, как хозяева нашего неба. Они ничего не опасались. Их тройки просто спешили выполнить задание, при котором ничто им не угрожает. И на земле было все тихо, и с земли они могли ничего не опасаться. И я, привыкший к состоянию бессильного гнева, с какой-то непонятной прикованностью не мог отвести глаз от японских самолетов, что продолжали лететь и лететь. И вдруг, как будто небо услышало мою молитву и мой гнев, из облаков сверкнули самолеты, которых я никогда раньше не видел. Я смотрел, как во сне. Клубились разорванные облака, или дымки рвущихся в небе шрапнелей, или взрывы японских самолетов — не знаю. Но я видел, как с дымными хвостами японские самолеты падали в реку и она ломала им хребты, после чего они то-нули.

Я считал, в дикой радости я считал, сколько их падало. Я считал до десяти. Нет, они продолжали падать. Еще пять, еще три, еще два, еще один. Они прилетели, их было пятьдесят четыре; они улетали, их было только тридцать три. Двадцать один самолет был сбит этими чудесными воздушными воинами. Мы хотели знать, кто это, мы приветствовали живых, мы оплакивали мертвых, как своих братьев. И они были наши братья — эти советские люди, отдавшие свою жизнь за родной Китай, за наш Китай, за его свободу. Вы знаете, мы ежегодно ходим сюда, весь город, с благодарственными венками...

— Октябрь! Москва! Революция! Спасибо! — сказал старый китаец, крепко пожимая нам руки, подойдя к нам при выходе.

Тот, что говорил по-русски, пояснил: он хочет сказать, спасибо Москве за Октябрьскую революцию.

Я стоял на берегу Янцзы, взволнованный ее необъятным величием. Я вспомнил скромный поток: Кубань текла в мягких зеленых берегах. Я вспомнил тридцатый год, и чайхану на границе пустыни, и весенний сев первых туркменских колхозов, и вечер и отдых работников за пиалой бледного зеленого чая.

Я вспомнил рассказ о китайских добровольцах, шедших на врагов революции за родную Кубань.

Я стоял на берегу Янцзы, и в глаза мне летел сверкающий простор реки, простор древней земли, простор мира, населенного большими, могучими людьми, для которых нет границ, нет времени, а есть братство и дружба, боевой клич во славу свободного человека, есть великий путь, который народы проекладывают для счастья всего человечества!

ПЕРЕД ДВОРЦОМ

Кто не знает это нескончаемо огромное здание, над которым в моем детстве разевался желто-черный флаг Российской империи, здание, называемое и тогда и теперь Зимним дворцом?

Кто не знает необозримую площадь перед дворцом, украшенную так называемой Александровской колонной? Через эту площадь снуют автомобили, ее непрестанно переходят прохожие. В дни революционных праздников миллионные колонны ленинградцев с флагами и транспарантами, с лозунгами и песнями маршируют перед трибуналами, за которыми подымает свои многочисленные стены старый Зимний.

В обычные тихие дни, особенно летом, перед дворцом стоят маленькие и большие группы экскурсантов, знакомящихся с историческими памятниками города.

Много среди приезжих иностранцев. По-разному смотрят они на площадь и на дворец. Одни с скучающими лицами слушают объяснения гида, и особенно когда гид рассказывает об Октябрьской революции и о том, как в этот дворец ворвался революционный народ и арестовал Временное правительство.

Особенно их, по-видимому, раздражает медная доска, прикрепленная к стене, на которой написано об этом событии, произшедшем в ночь на 25 октября 1917 года. Им не нравится и доска, и то, что на ней написано. Они, зевая, смотрят по сторонам, намекая гиду, что тут смотреть нечего — надо идти дальше.

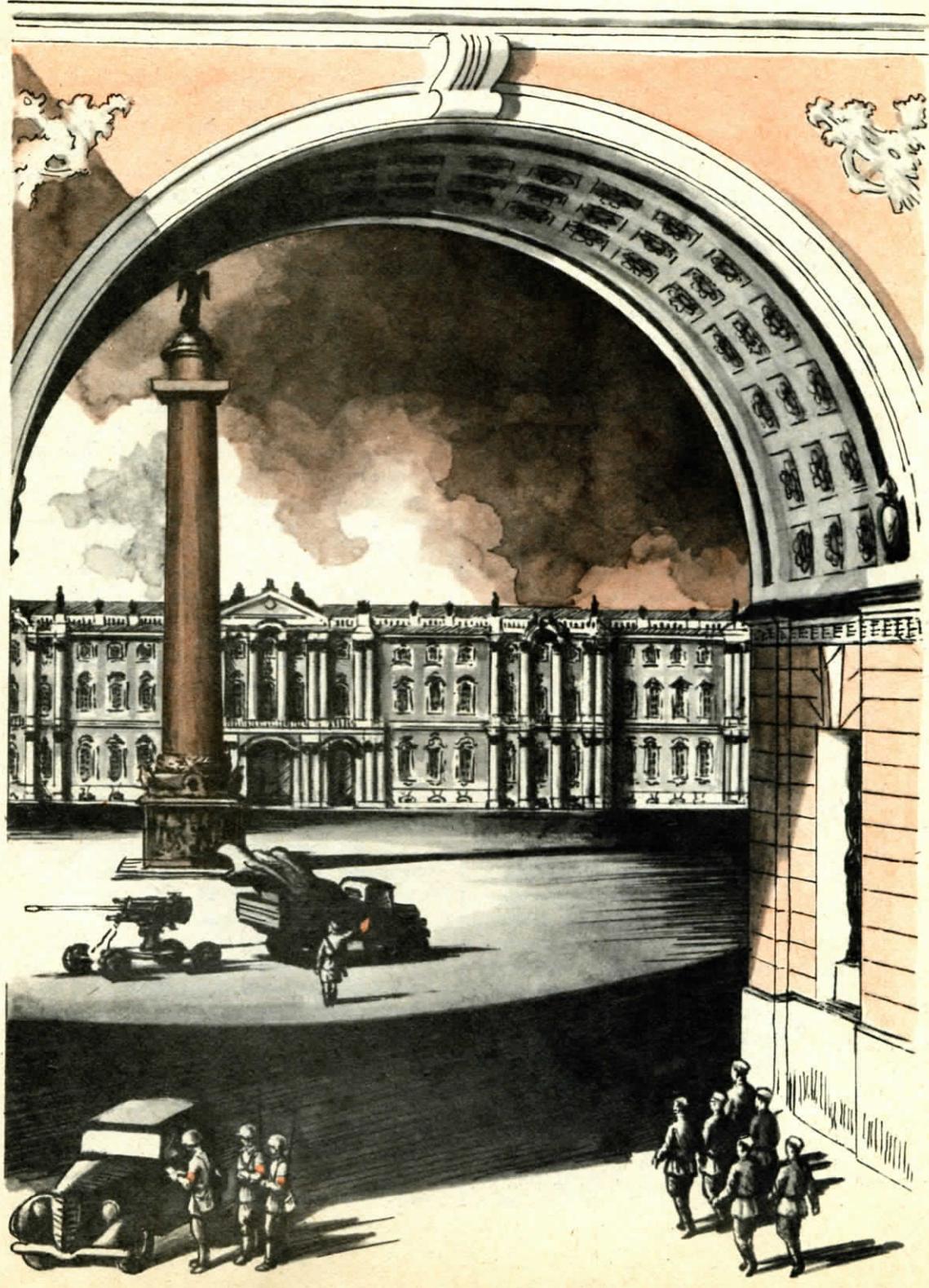
Их равнодушные взгляды как бы не замечают написанного, а их память не хочет задерживаться на таком для них печальном повороте времени.

Другие группы приезжих иностранцев представляют полную противоположность. Эти старые и молодые люди из разных стран Запада сразу оживляются и закидывают гида множеством вопросов, на которые он не сразу может ответить. Им нравится и дворец, и особенно доска, на которой так хорошо и кратко написано о самом главном. Они смотрят расширенными глазами, улыбаются, фотографируют, записывают в свои путевые дневники впечатления и всячески выражают свое удовольствие от виденного.

Бывают и такие среди них, что выражают свой восторг необычным образом. Я видел сам, как раз перед этой медной доской станцевал какой-то невообразимый танец совсем молодой человек из далекой азиатской страны. Он сказал, что танцует в честь победы советского народа, ибо только так он может выразить свое восхищение.

Я видел, как один негр долго смотрел на доску и потом сказал: «Такую доску я хотел бы видеть на всех дворцах наших африканских колониальных владений, на всех дворцах наших европейских царьков, наших угнетателей. Это так и будет со временем. Я знаю теперь, где взять образец...»

Сколько раз проходящий через площадь мимо дворца видел группы школьников, восхищенно говоривших: «Смотри! Смотри! Доска!» Они толпились вокруг смущенной молодой учительницы, старательно объясняющей им, что такое представляет этот дворец как исторический памятник. Дети знают, что это было так давно, когда их еще не было на свете. Их деды и отцы брали этот дворец, а сейчас он совсем не страшен, на площади хороший ветерок с Невы, солнце такое, что даже жарко, и трудно себе представить, что



на этой площади кто-то с кем-то может сражаться.

Что говорить, и я, старый ленинградец, тоже, и днем и ночью видя старый дворец, привык к нему, и он мне стал казаться, как и этим маленьким школьникам, воспоминанием далеких лет, архитектурным памятником, который не вызывает новых ощущений.

Прошли годы. Шел я как-то в августе сорок второго года мимо Зимнего дворца по площади в самый разгар ленинградской осады. Трудные это были дни. Шел я, задумавшись о многом, на душе было тяжело, и вокруг ничего не радовало. Город может в пасмурные предосенние дни выглядеть каким-то суральным, тоскливым, и свинцовые тучи, стоящие над Невой, еще больше делают его грустным, безотрадным, опустевшим. А здесь обстановка осажденного города, торчащие стволы зенитных орудий, поднятые к печальному небу на «ватрушке» у здания бывшей Биржи на Васильевском острове, корабли, прижавшиеся к набережной, аэростаты заграждения, лежащие на земле, как отдыхающие стального цвета кашалоты, редкие трамваи, редкие пешеходы, держащиеся стен домов, быстро проносящиеся грузовики с военным грузом, накрытые серым брезентом, затемненный шпиль Адмиралтейства — все, вплоть до порывов ветра, гнавшего по площади обрывки старых плакатов вперемежку с сухими скорчившимися листьями, говорило о жестоком военном времени, о продолжающемся, не имеющем конца напряжении и ежедневных кровавых схватках с подступившими к городу врагами.

Не было перед дворцом иностранных туристов, не было стаек школьников, не было экскурсантов, стоявших перед дворцом с фотоап-

паратами и записными книжками.

Проходили комендантские патрули, останавливали редких пешеходов и проверяли документы. Красные повязки на их рукавах ярко горели в серых тонах безрадостного дня.

И вдруг я увидел на площади группу людей, которая остановилась перед дворцом. Перед группой стоял человек, по-видимому — экскурсовод. Жестикулируя, он объяснял что-то, как в добрые мирные времена, и слушавшие его смотрели покорно, куда он им указывал, и тоже спрашивали, и тоже после его ответа записывали что-то в книжечки.

Это было так удивительно, что я направился к стоявшим. Но не только мое внимание привлекли эти товарищи. Комендантский патруль медленно шагал к ним с другой стороны.

Стоявшие были красноармейцы. Они стояли без оружия, в гимнастерках, крепких, но видавших виды. Люди разного возраста, они внимательно выслушивали своего старшего — пожилого красноармейца. По мере объяснений они передвигались, как самые настоящие экскурсанты.

Комендантский патруль подошел к ним.

— Вы что тут разгуливаете, товарищи? — спросил патрульный командир.

— Мы не разгуливаем, — ответили ему.

— А кто вы такие?

— Мы туристы, — сказал один из них, рабий красноармеец с веселым лицом, рыжий, по-видимому — здира.

— Кто? — не доверяя услышанному, переспросил командир.

— Ну, вот кто ходит с городом знакомиться, — ответил рыжий.

Но его перебил дававший объяснения за экскурсовода:

— Товарищ лейтенант, наши документы все в порядке, пожалуйста, я вам сейчас покажу, мы командированы в город Ленинград на предмет ознакомления с его революционными памятниками, как с городом русской военной славы и с городом Октября, как его защитники, которые никогда города не видели. И, значит, нам надо его видеть...

Пока лейтенант знакомился с документами, старший группы говорил:

— Мы с фронта, прямо из окопов. Товарищи прибыли из самых разных городов и областей на фронт, прямо под Ленинград. Они знают свой боевой долг, но города никто из них не видел. Командование распорядилось, чтобы показать им наш славный Ленинград, сделать экскурсии по очереди и ознакомить их с памятниками революции... Разрешите продолжать, товарищ лейтенант.

— Раз так,— сказал лейтенант, сам молодой и чуть порозовевший от неожиданности,— продолжайте. Наш Ленинград посмотреть стоит...

Старший показал на доску, украшавшую стену дворца. Все столпились перед доской. Над нашими головами с тихим зловещим шелестом прошел снаряд, и гул взрыва донесся откуда-то из глубины Васильевского острова. Кое-кто из группы посмотрел на небо и снова стал слушать экскурсовода. Даже патруль стал прислушиваться к тому, что сказал пожилой сержант.

— Смотри-ка, так и написано,— сказал один,— рабочие и солдаты, значит, красногвардейцы, матросы тут Октябрь делали. Вернувшись с войны, расскажу, своими глазами видел этот дворец, не как-нибудь...

— Ох, и громадный он, тут, наверное, заблудишься, если без плана пойдешь,— сказал другой хриплым голосом.

— Это правильно, что нам город показали,— заметил третий,— а то сидишь в болоте, и вокруг хлюпает, а что за Ленинград, только на картинке видишь... А теперь вот вернусь в окоп — знаю, что за мной. Как бы руками пощупал...

Один до сих пор молчавший загорелый, с ясными голубыми глазами парень, оглядывавший всю громаду дворца, сказал, как будто удивление и какая-то внутренняя сила заставили его неожиданно заговорить:

— Вот он какой! — Помолчав, он добавил: — Мой отец его брал... — Он еще помолчал немного и сказал, давая выход какой-то затаенной мысли: — А я, выходит, защищаю его. Видишь, как повернулось. Вот он какой — наш дворец стал, народный... И я вот его защищаю...

И как он сказал «наш, народный», вдруг стало как-то широко на душе. Как будто глаза у всех пораскрылись. Без слов было ясно, что сейчас все смотрят и на дворец, и на окружающее и чувствуют, что и дворец, и земля, на которой он стоит, и площадь с колонной, и небо над площадью, и весь город принадлежат каждому, что с какой-то необыкновенной скоростью приблизился тот день, когда отец этого красногвардейца вместе с другими простыми людьми действительно взял себе этот дворец, отнял его у черных сил, и, как в сказке, со взятием этого громадного дома вся жизнь на свете повернулась по-другому.

И так естественно, что сын — вот этот голубоглазый парень в стиральной гимнастерке, загорелый, как лесной богатырь, — защищает завоеванное отцом, завоеванное отцами новое, и что иначе быть не может.

Даже комендантский лейтенант почувствовал волнение, невольно охватившее всех. Каждый думал о

Н. ТИХОНОВ

своем, но все эти мысли сводились к одной: город Октября врагу не отдадим.

Новый снаряд прошелестел над нами, но уже никто не смотрел ему вслед. Только лейтенант сказал, похмыкав носом:

— Ну, смотрите, туристы, хорошенько смотрите. А я пошел дальше...

И он пошел медленными шага-

ми с молчаливым спутником по направлению к Дворцовому мосту. А мы все стояли и смотрели на доску, где как будто буквы переходили в фигуры, фигуры множились и наполняли площадь за нашими плечами, и стоило только оглянуться, и сразу будет виден бесконечный шквал человеческих волн, удар великой бури, освежившей жизнь человечества...

СОДЕРЖАНИЕ

Апрельский вечер	1
Начало эры	7
Счастливая улица	16
«Путь Октября»	34
Перед дворцом	40

P2
T46

Художник В. Алексеев

Тихонов Н. С.

T46 Октябрьские рассказы/Худож. В. Алексеев.—
М.: Современник, 1987.—45 с.; ил.; портр.— (Отро-
чество. Серия книг для подростков).

«Октябрьские рассказы» почти все были созданы осенью 1957 года к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. «Мне выпало большое счастье быть свидетелем и участником великих исторических событий»,— писал замечательный советский писатель и общественный деятель, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Николай Семёнович Тихонов. Самое грандиозное историческое событие и легло в основу цикла.

T **4803010102—015** 284—87
M106(03)—87

ББК84Р2
Р2

© Оформление, издательство «Современник», 1987.

Николай Семенович Тихонов
ОКТЯБРЬСКИЕ РАССКАЗЫ

Редактор
О. ГОЛЕВА

Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ

Технический редактор
В. КОТОВА

Корректоры
М. КУРНОСЕНКОВА, Л. ФЕДОСЕЕВА

ИБ № 4559

Сдано в набор 01.10.86. Подписано к печати 01.12.86. Формат 70×100¹/₁₆. Гарнитура об. нов. Печать офсет. Бумага офсет. кн.-журн. № 2. Усл. печ. л. 3,9. Усл. кр.-отт. 8,29. Уч.-изд. л. 3,85. Тираж 1 000 000 экз. Заказ № 1202. Цена 15 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Ростгравполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



15 коп.



ОТРОЧЕСТВО
СЕРИЯ КНИГ
ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ

Юный читатель!

В следующей книге серии «Отрочество»
Вы сможете прочесть рассказ известного
советского писателя, лауреата Государст-
венной премии СССР Виктора Астафьевы
«Где-то гремит война» — о сибирском па-
реньке, о его нелегком отрочестве в воен-
ное лихолетье.

«Современник»